
АЛИСА МОРИНА
СЛОВО · ПЕЧАТЬ · НАСЛЕДИЕ
КОРПУС НАСЛЕДНИКОВ
РОД ВЕРИЦКИХ
ДОМ ГОВОРИТ, ПОКА ГОВОРИТ ЕГО ПЕЧАТЬ

Алиса Морина

Род Верицких #2.
Корпус наследников

«Автор»
2026

Морина А.

Род Верицких #2. Корпус наследников / А. Морина — «Автор», 2026

Вторая книга цикла «Род Верицких». Право мало получить — его ещё надо пережить. Наследника не выгоняют, если можно вынудить уйти по правилам. Дом не отнимают, если можно признать владельца негодным.Дом Верицких я отстоял, но победа дала лишь отсрочку. Пока проверяющий сидит в нашем архиве, меня отправляют в Корпус наследников. Здесь правила не записывают, каждую ошибку заносят в книгу, а пятнадцатилетние знают порядок лучше меня.Драться нельзя. Остаётся считать сроки, читать пустые графы и замечать, кому один и тот же порядок служит по-разному.Одна больная рука, полторы сотни свидетелей и право остаться до осени. Посмотрим, что весит больше: кровь или запись о ней.

© Морина А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Десять дней печати 5
Глава 2. Дом без хозяина 12
Глава 3. Дорога к наследникам 19
Глава 4. Входной список 25
Глава 5. Место Верицкого 31
Глава 6. Правила без правил 37
Глава 7. Первое построение 44
Глава 8. Ловушка на двоих 50
Конец ознакомительного фрагмента. 56

Алиса Морина
Род Верицких #2. Корпус наследников

Глава 1. Десять дней печати

Опись Матвей принёс в восьмом часу. В комнате не топлено. Понял я это по бумаге. Она была холодная, как со двора.

— Проверяющий назначен, — сказал Матвей. — Кто именно, не написано. Опись подавать готовой.

Он положил лист и отступил на шаг. Стоял прямо, руки по швам. Опись я придвинул к себе.

Опись была на полторы страницы и писана Варварой. Почерк её я узнаю теперь издали. Она пишет без нажима и не отрывает пера в середине слова. Расходу за десять дней вышло сорок один рубль с копейками. Дрова, свечи, кузнец, подковы, ось.

Ось меня остановила.

— Какая ось?

— К телеге. Треснула.

— Записана как новая.

— Она и новая. Старую не чинили. Старую выбросили.

Я подчеркнул строку и пошёл дальше. Больше в описи не было ничего. Столько за десять суток. Это дом, который стоит и уже не живёт.

Заверять опись мне не хотелось. За эти десять дней я брался за печать четыре раза, и все четыре раза выходило одинаково.

Я снял чехол. Печать легла в ладонь тяжелее, чем помнилась. Правая кисть с того дня не разгибается до конца. Прижал, придерживая правую кисть левой рукой, как показывал Глеб. Досчитал до трёх.

Холод пошёл под рёбра раньше, чем сел оттиск. Он всегда идёт первым и всегда одинаково. Сначала под рёбрами, потом в кисть. К четвёртому разу я перестал ждать другого. Оттиск вышел чистый.

— Матвей Савельевич. Книгу.

Он принёс её сразу. Держал под рукой, значит. Книга была казённая, в четверть листа. Заголовок печатный, графы тоже. Пахла клеем. Такие в лавке не продают, такие рассылают.

— Откуда?

— Из Палаты. Третьего дня, с формой.

Форму я прочёл стоя. Всякое употребление печати теперь вносится в книгу и предъявляется по требованию. Ниже шли графы: число, предмет, основание, лицо, при ком совершено, отметка о предъявлении.

— Пиши, — сказал я. — Число. Опись расходов. Условие первое.

Матвей не тронул пера.

— Тут ещё три графы.

— Три графы лишние.

— Графы не мои, Родион Андреевич. Они печатные.

Я хотел ответить и не ответил.

Прав он был не из упрямства. Пустую графу в казённой бумаге кто-нибудь прочтёт как вопрос и задаст его в удобную себе минуту. Такие пропуски находят первыми: искать в них дёшево.

— Пиши все шесть.

Он сел и стал писать. Писал медленно, буквы ставил отдельно. Я смотрел на строку и считал, что из неё вынут.

Дом заверил расход. Заверил сам, без опекуна, и это в нашу пользу. Сумма — сорок с небольшим, то есть дом жив и беден. При ком совершено — при управляющем. Свидетель домашний, то есть слабый. Отметка о предъявлении пустая.

Пять граф работали на нас. Шестая ждала.

— Матвей Савельевич.

— Да.

— Кто эту книгу будет читать?

Он дописал слово и только потом поднял голову.

— Как потребуют, так и предъявим.

— Я не про то, кто потребует. Я про то, кто читает.

Матвей подумал. Думал он честно. Это я уже отличаю. Смотрит мимо меня, в стену, и отвечать не торопится.

— Того не знаю, — сказал он.

— В Палате есть такой человек?

— Должен быть.

— А в Корпусе?

— Про Корпус я вам сказал всё, что знаю. Больше не прибавится.

Он присыпал строку песком и подул. Песок собрал в бумажку, бумажку сложил вдвое. Первая запись стояла посередине первого листа. Выше неё пусто. Ниже пусто. Лист ждал с обеих сторон.

Я закрыл книгу. Заводят такую книгу под тебя одного. Читать её будет кто-то, кого я не знаю. Час выберет тоже не я. Это я понимал. Не понимал я другого: почему это тревожит меня сильнее долга.

Варвара пришла в двенадцатом часу и принесла всё разом. Бумаги она несла стопкой, прижав к себе левой рукой, а дверь открыла правой. Стопка была в две ладони толщиной.

— Куда класть?

— На стол. Разложи по срокам.

Она сдвинула чернильницу к краю и стала раскладывать. Делала она это молча и быстро. Ближний ряд — то, что горит на этой неделе. Средний — то, что до конца месяца. Дальний — остальное. Раскладку эту она завела сама, я её не заводил.

Руки Варвары в чернилах до второй фаланги. Отмываются они плохо, и она этого не прячет.

— Ближний ряд, — сказала она. — Уголь. Кузнец. Ответ Сомовым про опись. Отчёт проверяющему, когда назовут человека.

— Средний?

— Подать в Палату о месте хранения футляра. Двум кредиторам сроки. Ваш отъезд.

— Отъезд в среднем ряду?

— Отъезд к осени. — Она не подняла глаз. — Дальше среднего он никуда.

— Про проверяющего есть что-нибудь?

— Только то, что назначат. Имени нет.

— Назовут — клади в ближний.

— Положу. — Она подумала. — Он сядет в архиве. Надолго?

— Пока не сказано.

Она кивнула и спрашивать не стала. Про архив в этом доме спрашивают теперь осторожно. Я стал смотреть дальний ряд.

Там лежало шесть листов, и один был не наш. Я вынул его и положил отдельно. Шесть недель на жалобу Ланских истекают числом, которого никто не может передвинуть.

— Этот сюда, — сказал я и подвинул лист в ближний ряд.

Варвара положила перо.

— В ближнем то, что мы делаем. Мы этого не делаем.

— Верно. Мы к этому готовимся.

— К этому нельзя приготовиться. Это чужая бумага. Её напишут без нас и подадут без нас.

Голос у неё не поднялся ни на слово. Я знал, что она права по своему порядку, и всё-таки лист не убрал.

— Какое число?

— Четвёртого числа следующего месяца.

— Считала?

— Дважды.

— Запиши его на отдельный лист. Крупно.

Тут она оторвалась от бумаг.

— У меня всё записано.

— У тебя записано в ряду. Мне нужно, чтобы оно не лежало в ряду.

— Лишний лист в стопке — это лишний лист.

— Один такой у нас уже есть.

Про тот лист я мог не напоминать. Она сама писала его в Палате, при всех, и писала дважды по моему слову. Срок Корпуса лежал у неё в бумагах отдельно с того дня.

Варвара взяла чистый лист. Обмакнула перо и написала одно число, поперёк листа, в четверть его высоты.

— Так?

— Так.

— А вы понимаете, что это ничего не меняет?

— Понимаю.

— Мы не можем ни ускорить, ни отложить. Мы можем только ждать, когда придёт.

— Можем ещё считать, сколько осталось.

— Тридцать один день, — сказала она сразу.

Она возражала мне четверть часа и всё это время держала счёт в голове. Согласилась она давно и не хотела говорить об этом первой.

Кожину на работу нужно меньше недели. Значит из тридцати одного дня наши только первые двадцать четыре. Дальше идут его. Я сказал ей это.

— Тогда почему лист? — спросила она.

— Потому что через двадцать четыре дня мы про него забудем. А он не забудет.

Варвара положила лист поверх стопки и придавила чернильницей. Число вышло крупное, чёрное и одно на всём листе. Мимо такого не пройдёшь. Она посмотрела на него, потом на меня, и в лице у неё что-то сдвинулось.

— Уголь всё равно горит сегодня, — сказала она.

И села писать ответ Сомовым.

Глеб ждал у сарая и мерки уже разложил. Лежали они на лавке в один ряд, от малой к большой. Малая с кулак. Большая с голову. Между ними ещё четыре.

— Рубаху снимать?

— Оставьте. Берите первую.

Я взял. Подержал на вытянутой. Он молчал и считал про себя, я видел по губам.

— Опустите. Вторую.

Вторая пошла хуже. Правая не сгибается до конца после каждого заверения. Болью это не назовёшь. Доводишь до трёх четвертей, и там стенка. Утром я заверял опись. Значит, стенка сегодня ближе обычного.

Я довёл мерку до груди и там её удержал.

— Опустите.

— Я держу.

— Вижу. Опустите.

Он забрал мерку и положил её на место, в свой ряд, малой стороной к малым.

— Третью?

— Третью не будем.

— Я подниму третью.

— Поднимете, барин, — сказал Глеб. — И завтра левая станет за правую работать. А послезавтра вы этого уже не заметите.

Он дал мне первую обратно.

Мерка вернулась ко мне, и я посмотрел на него. С той ночи у архива он глядел на меня иначе: как на чужую лошадь, которую велено принять по счёту.

— Держите. Глаза закройте.

Я закрыл. С закрытыми глазами стоять оказалось тяжелее всего. Двор пошёл вбок. Пошёл слегка, и правое плечо потянулось следом. Я поймал себя и выправился.

— Ещё раз.

Второй раз вышел лучше. Третий хуже второго.

Вес железной мерки в ладони, дрожь в предплечье. Больше он ничего и не считал.

— Довольно.

Он сел на лавку и достал бумажку с огрызком карандаша. Писал он долго для двух строк.

— Что пишете?

— Что видел.

— А я что сказал?

— Вы ничего не говорили. — Он не поднял головы. — Вы сказали «я держу». Я и записал, что вы держали.

Тут я понял, зачем всё это. Глеб проверяет не силу, а управляемость. Сила у меня та же, что была: тело досталось тяжёлое и работать умеет. Управляемость — это другое. Это когда ты знаешь свой предел и стоишь перед ним, а не за ним.

— Глеб Никитич. Сколько до порядка?

— Кисти? Месяца три. Может, полгода.

— А если заверять каждую неделю?

Он подумал.

— Тогда никогда.

Сказал он это так же ровно, как называл мерки, и убрал бумажку в карман.

Я стоял и считал, что из этого следует.

Заверять я буду. Отказаться нельзя: опись, доверенность, всякая бумага дома идёт через печать, и всякая идёт в книгу. Значит, рука останется такой, какая есть. В Корпус я приеду с рукой, которая не разгибается до конца.

— Родион Андреевич, — сказал Глеб.

— Да.

— Там на вас посмотрят прежде, чем прочтут ваши бумаги.

— Кто посмотрит?

— Все. — Он собрал мерки в мешок, начиная с большой. — Бумагу читают в канцелярии, за дверью. А стоите вы во дворе, и во дворе вас видно сразу.

— И что видно?

— Что правую вы бережёте. Что стоите на левой ноге дольше, чем на правой. Что после заверения у вас с лицом делается.

— Это заметно?

— Мне заметно. Я вас четвёртую неделю смотрю.

Он завязал мешок.

— Там на вас дадут один день. Зато глядеть будут все разом.

Мешок он унёс в сарай, а лавку вытер рукавом от снега.

Я остался один и подержал правую перед собой.

До трёх четвертей она шла. Дальше стенка. Вчера стенка стояла на том же месте, и позавчера тоже. Это была мерка, и только. Мерку сняли, число получили, и число это ехало со мной.

Предписание пришло на третий день после Палаты и до сегодняшнего вечера лежало непрочитанным. Читать его надо было один раз и внимательно, а таких часов за десять дней не выпало ни одного.

К свечам я подсел с ним один. Казённая бумага плотнее домашней, оттиск сухой. Углы заломлены чужими руками, и заломы старые. Бумага эта ехала не ко мне первому.

Читал я построчно и вёл карандашом по краю. Первый лист говорил о существе дела. Явиться надо до осеннего набора. Дальше стояло, что порядок установлен «для всех», и слово это было набрано разрядкой.

Разрядка тут не для красоты: набранное ею потом цитируют. Своё «для всех» я знал наизусть с прошлой работы: доступ у каждого свой, и никто этого не проверяет, пока не понадобится.

Второй лист был про порядок явки.

Тут я стал читать медленнее.

Сказано было о сроке подачи имени. О месте, куда его подают. О числе, к которому список закрывают. О том, как список объявляют и с какого дня он действует.

Всё это относилось к набору.

Я вернулся к началу и прочёл второй лист заново. Потом взял чистый лист и выписал три места. Имя подаётся до закрытия списка. Место назначают по объявленному списку. Старшинство считают со дня объявления.

Три опоры, и все три висят на списке.

А списка для меня нет.

Я проверил себя ещё раз и пошёл по второму листу с конца. С конца читается хуже, зато не по привычке.

Ничего не переменилось. Все четыре строки второго листа начинались с набора.

Я откинулся и посмотрел на свечу. Она стояла криво и наплывала на подсвечник с одной стороны. Про приезжающего не в срок в предписании не было ни слова. Ни разрешения, ни запрета, ни отсылки. Пустое место, каких в казённой бумаге не бывает по недосмотру.

— Варвара Тихоновна.

Она пришла с пером в руке.

— У меня списки не закончены.

— Вижу. Выпиши три места.

— Сейчас?

— Сейчас.

Она глянула на предписание. Потом на свои списки за дверью. И села. Села молча, но перо взяла своё.

Я диктовал по карандашным отметкам, она писала.

— А если списка нет? — Она дописала второе.

— Тогда решают на месте.

— Кто?

— В бумаге не сказано.

Она подняла глаза.

— Ни имени, ни должности?

— Ни имени, ни должности. Написано «установленным порядком».

Варвара дописала третье и присыпала.

— У нас так пишут, когда не хотят брать на себя.

— У вас — это где?

— В городе. В управе. — Она собрала песок. — Когда написано «установленным порядком», значит порядка два и оба чьи-нибудь.

Выписку я перечёл дважды.

Она была права по своей части, и я её правоту не оспаривал. Только выходило из этого хуже. Порядка тут было не два. Его не было вовсе.

Для набора порядок был написан весь, до дня и до места. Для меня не было написано ничего. И то и другое стояло в одной бумаге, под одним оттиском, и обе части были одинаково законны.

Пустое место в бумаге — не свобода. Это чужое право решить за тебя. И решить в ту минуту, какая будет им удобна.

— Ещё что-нибудь выписать?

— Нет. Иди к спискам.

Она ушла. Я слышал, как за стеной она сдвинула стул и почти сразу начала писать. Перо у неё идёт без остановок. Я сложил предписание по старым заломам.

Оно легло залом в залом, и от этого стало неприятно вдвойне. Бумагу эту складывали до меня. Складывал тот, кто уже знал, чего в ней нет.

Я положил выписку на стол и придвинул к ней лист Варвары.

Два листа легли рядом. На одном три опоры, которых у меня нет. На другом одно число, до которого тридцать один день. Вот тогда я и сосчитал.

Место, которого нет в списке, займут без меня. Займут не к осени, а в первую свою надобность. Пока я сижу дома, про меня пишут другие.

Ехать надо не осенью.

Матвей пришёл за распоряжениями на завтра во втором часу ночи, последним из всех, когда в доме уже потушили. Свеча у меня горела одна и стояла криво с вечера.

— Садитесь.

Он не сел.

Матвей стоит и не садится, хотя ему сказали сесть. За месяц я привык: сядет он, только если речь о деньгах.

— Завтра, — сказал я. — Уголь примешь сам. Варваре скажешь, чтобы ответ Сомовым ушёл с утренней почтой. И возок готовь: выедем послезавтра, до света.

— Куда?

— В Корпус.

Он переставил свечу ближе ко мне.

— До осеннего набора семь месяцев, Родион Андреевич.

— Знаю.

— Дорога расквасилась. Санного пути нет, колёсный ещё не встал. По такой грязи вы поедете трое суток вместо полутора.

— Тоже знаю.

— Тогда я не понимаю.

Сказал он это без обиды. Он просто перестал делать вид, что понял.

Я подвинул к нему лист, который днём написала Варвара. Число стояло на нём одно. Крупное, поперёк всего листа.

— Четвёртого числа следующего месяца Ланские подадут жалобу. Подадут непременно. Срок им дан, и неиспользованный срок в их деле читается как согласие.

— Это я понимаю.

— Теперь считай со мной. В жалобе будет одно: что держать печать я не способен и без надзора не обхожусь. Доказывать это будут не словами. Доказывать будут бумагами.

— Какими?

— Любыми, какие к тому числу про меня напишут.

Матвей смотрел на лист.

— Пока я здесь, — сказал я, — про меня пишут только две вещи. Что я заверил опись на сорок один рубль. И что дом под наблюдением сидит и ждёт. Обе строки в их пользу.

— А если вы там?

— Если я там, к четвёртому числу про меня будет написано третье. Что глава дома Верицких явился по пятому условию и проходит порядок.

Матвей потёр ладонь о ладонь и стал считать.

— Одна строка против двух, — сказал он.

— Одна, но не их.

Тут я сказал ему главное. Сказал прямо, чтобы после не переспрашивал.

Уехать значит начать исполнять пятое условие раньше, чем написана жалоба.

— Могут и не допустить, — сказал Матвей. — Вы сами прочли: порядка для приехавшего не в срок там не написано.

— Не написано. И отказать мне не будет стоить им ничего.

— Тогда зачем ехать?

— Затем, что отказ они запишут своей рукой. Мне нужна их бумага, а не моё сидение здесь.

— Ждать осени нельзя, — прибавил я. — Осенью я приеду в срок и по правилам. И приеду человеком, который полгода просидел дома. Всё это время про него писали. К тому времени всё уже будет решено без меня.

Он смотрел на свечу, а не на меня.

— Дом остаётся без хозяина в те самые шесть недель, — сказал он.

Вот это и был весь его довод. Он держал его до конца и выложил один.

Дом действительно оставался, и сказать против было нечего. Печать уезжала со мной. Стены, архив, люди и долг оставались на нём и на Варваре.

— Остаётся, — сказал я. — Кто им хозяин эти шесть недель, ты знаешь.

— Знаю его. — Он поправил фитиль. — Дела я принимал у Степана Ильича и принимал при хозяине. Хозяина в отъезде я тут не помню ни разу.

— Значит, будет в первый раз.

— В первый.

Он поправил свечу и вытер палец о полу.

— Родион Андреевич. Я вам скажу то же, что уже говорил.

— Скажи.

— Ваш дед туда ездил, и барин ваш ездил, и оба вернулись другими. Первый к лучшему, второй нет.

Я это уже слышал. Слышал неделю назад. В этой самой комнате, у этой двери.

Матвей никогда ничего не повторяет. Он скажет один раз. Кто не взял, тот сам виноват. Ни разу он не повторил мне ни распоряжения, ни счёта.

А это повторил.

— Матвей Савельевич. Ты говоришь мне это второй раз.

— Второй.

— Зачем?

— Затем, что в тот раз вы отвечали на другое. В тот раз вы отвечали, поедете или нет. — Он взялся за дверную скобу. — А теперь вы едете.

Глава 2. Дом без хозяина

Доверенность я начал писать в седьмом часу и переписывал дважды.

Первый раз вышло коротко и красиво. Читать такую бумагу приятно. Работать по ней нельзя. В ней сказано, что Варвара ведёт переписку дома. Всё. Кто угодно спросит, что значит «ведёт». И всякий ответит по-своему.

Второй раз я написал длинно и споткнулся на середине. Длинную она станет перечитывать всякий раз, а времени у неё не будет.

Третью я писал уже зло и потому вышло то, что нужно.

Варвара пришла, когда я присыпал последнюю строку.

— Читай вслух.

Она прочла. По голосу её ничего не разберёшь на любом тексте.

— Тут сказано, что я подписываю за дом.

— Сказано.

— И что ошибка моя будет ошибкой дома.

— Этого не сказано. Это и так верно.

Она положила лист и посмотрела на меня. За месяц я научился отличать её молчание от несогласия. Это было несогласие.

— Я пишу по описи, Родион Андреевич. Опись мне даёт кто-нибудь другой.

— Больше некому.

— Знаю. Я не спорю. Я говорю, что раньше между моей ошибкой и домом стояли вы.

— Тогда запомни три случая, — сказал я. — В них ты молчишь и складываешь бумагу в отдельную стопку. Без отписок, без обещаний и без «мы рассмотрим».

— Называйте.

— Первое. Всё, где есть слово «печать». В любом падеже и в любой связи.

— Второе.

— Всё, что придёт от Ланских или от Кожина. Хоть поздравление с именинами.

Она чуть усмехнулась. Первый раз за утро.

— Третье.

— Всё, где от дома хотят слова про долг. Признать, отвергнуть, отсрочить — всё равно. Долг у нас один, и он не про деньги.

Варвара повторила три случая наизусть, не глядя в лист. Сразу, без паузы, в том же порядке.

— Ещё раз, — сказал я.

Она повторила снова, слово в слово. Это меня не успокоило. Кто берёт список с одного раза, тот и дыры в нём заметит сразу.

— Проверим, — сказал я. — Что пришло за утро?

Она вынула три листа и разложила на столе слева направо.

— Первое. Сомовы спрашивают, будем ли мы продлевать опись по совместному хранению.

— Это куда?

— Никуда из трёх. Отвечаю сама, коротко: будем, срок прежний.

— Верно. Второе.

— Второе от поверенного. Другого, не Кожина. Спрашивает, кто теперь ведёт бумаги дома.

Я взял лист и прочёл его дважды. Ни печати, ни Ланских, ни долга. Обычный вопрос, какой задают перед тем, как послать что-нибудь тяжёлое.

— В стопку, — сказал я.

— Он не попадает.

— Попадает во второе. Поверенный один, контора другая. Проверь по адресу, чья контора, и если ланская — молчи.

Варвара пометила лист ногтем с угла. Помеченное она проверяет до ответа.

— Третье, — сказала она. — Кузнец. Просит отдать за ось до конца недели.

— За ось отдай.

— Денег нет.

— Отдай половину и напиши, когда вторая. Назови число, а не «после Покрова».

Она записала. Три листа легли в три разные стороны: ответ, стопка, счёт.

Вот это и работало. Бумага с моей подписью лежала тут же и пока не значила ничего. Значили три разложенных листа.

Я взял печать.

Утром я уже заверял расписку зеленщику. Двадцать два рубля с копейками, которых он не спрашивал. Мелочь, а руке всё равно. Тяжесть в кисти после второго заверения за сутки идёт раньше холода и держится дольше. Я прижал левой поверх правой и досчитал до трёх.

Заверение снова идёт в мою книгу. Матвей записал, не дожидаясь указания. Число, предмет, основание, лицо, при ком совершено. Шестая графа осталась пустой, как вчера.

— Теперь скажите четвёртое, — сказала Варвара.

— Четвёртого нет.

— Есть. — Лист она держала у груди, как держат опись перед спором. — Сегодня придёт бумага из Палаты о проверяющем. Ланские к ней отношения не имеют, слова «печать» в ней не будет, и про долг там сказать нечего.

Я молчал.

— В три случая она не попадает, — сказала Варвара. — Отвечать надо в срок. И отвечает дом, а дома нет.

Я посмотрел на доверенность, которую переписывал трижды и всё-таки не дописал.

— Отвечай, — сказал я.

— Как?

— По существу и коротко. И в тот же день пришли мне список того, на что ответила.

— Список дойдёт через трое суток. Ответ уйдёт сегодня.

— Дойдёт.

Она кивнула и не двинулась.

— Родион Андреевич. Я не боюсь подписывать. Я боюсь подписать то, о чём вы бы подумали дольше.

— Я тоже, — сказал я.

Это было единственное, что я мог ей дать честного.

Ключ на шнурке у Матвея. Шнурок продет в петлю пояса и завязан узлом, который развязывают двумя руками.

Он отпер и придержал дверь. Вниз идёт восемь ступеней. На четвёртой холод перестаёт быть сквозняком. Дальше он уже погода.

Запах сухой пыли и старого клея. За месяц я перестал его замечать. Сегодня заметил снова. С этого запаха всё и началось.

— Он придёт сюда, — сказал я.

— Придёт.

— Сядет там, где я сейчас стою.

Матвей поставил свечу в железный держатель у стены. Пламя встало и больше не шевелилось.

— Поручение проверяющего — бумаги за три года, — сказал я. — Давай считать, что это значит на полках.

Считали мы долго. Три года — это две нижние полки целиком и половина третьей. Расходные книги. Счета и купчие на мелочь. Переписка с управой. Два дела по межевой канаве. Опись имущества, заведённая при покойном и правленная дважды.

— Это он вправе, — сказал Матвей.

— Это он вправе. А дальше?

Дальше начиналось то, что я и хотел услышать. Дальше стояли короба без годов на корешках: родовое, печатное, заверения дома за полвека. Футляр, из-за которого всё случилось, лежит теперь в Палате. Полка под него осталась. Пустое место на ней видно от двери.

— Дальше он не вправе, — сказал Матвей. — Но спросить может.

— Вот. Спросить может.

Я прошёл вдоль полок и остановился у пустого места.

— Матвей Савельевич. Заводи отдельный список.

— Чего?

— Всего, что он затребует. Каждую бумагу, каждый вопрос, каждое «а покажите». Число, час, что именно. И раз в неделю посылай мне с оказией.

Он молчал, и молчание это затянулось.

— Не хочу, — сказал он наконец.

Такого ответа я от него ещё не слышал.

— Почему?

— Потому что список этот сам будет бумагой. Он его увидит. Или после кто-нибудь увидит. И по нему станет ясно, чего этот дом боится.

Я остановился.

Прав он был по самой сути ремесла. Человека ловят редко на спрятанном. Ловят на пересчитанном. Журнал доступов рассказывает о хозяине больше, чем хозяин о себе.

— Тогда пиши без имён, — сказал я. — Вместо «спрашивал про заверения деда» ставь «спрашивал про короб номер шесть». Номера знаем мы двое.

— И вы будете помнить, что в шестом?

— Я буду помнить.

Матвей кивнул. Согласие у него всегда такое: молча и без обещаний.

Я прошёл ряд ещё раз и сосчитал короба вслух. Вышло одиннадцать. Шестой стоял третьим справа, перевязанный тесьмой не того цвета, что остальные: тесьму меняли, и меняли недавно.

— Когда перевязывали шестой?

— При мне не перевязывали.

— А при ком?

Матвей поднял свечу выше и посмотрел на тесьму так, будто увидел её впервые.

— Не скажу, — ответил он. — Но узел не мой.

— Тогда вопрос, Родион Андреевич, — сказал Матвей.

— Да.

— Что писать, если он ничего не затребует?

— Так тоже пиши. Пустая неделя — тоже сведение.

Он снял с полки расходную за прошлый год. Обмахнул корешок ладонью. Поставил обратно. Всё это — чтобы не отвечать сразу.

— Тогда я вам скажу неприятное, — сказал он. — За три года в этом доме почти ничего не происходило.

— В смысле?

— В прямом. Барин ваш болел, потом слёг, потом помер. Хозяйства не вели, тяжб не было, приросту не было. Две полки, и те наполовину пустые.

Тень от полок стояла на месте. Я понял, что он говорит, не сразу. Понял и сел на нижнюю ступеньку, потому что стоять стало неудобно.

Человек приедет проверять бумаги трёхлетней давности. Он их прочтёт за неделю. Дом за эти годы почти ничего не делал. А бумаг в доме на полвека, и лежат они двумя полками выше поручения.

— Он заскучает, — сказал я.

— Заскучает.

— И начнёт спрашивать сверх.

— Или не начнёт. — Матвей поправил свечу. — Он ведь тоже чей-нибудь.

Самое скверное было в другом. Сказал он это вроде как про погоду.

Мы поднялись. Матвей запер дверь, проверил язык замка ладонью и завязал шнурок тем же узлом.

— Список заведу с завтрашнего, — сказал он. — С сегодняшнего не могу: его ещё не назначили, а бумага уже будет.

— Заводи с сегодняшнего. Первой строкой поставь, что не назначен.

Арина пришла со своим и разложила на крыльце.

Пробная пластина в ладонь, серая, с матовым краем. Кусок мела. Тетрадь в четвертушку, перетянутая резинкой. Больше ничего.

— Три раза, — сказала она. — У крыльца. У ворот. За воротами.

— А четвёртый?

— Четвёртого не будет.

Она провела мелом черту у моих сапог и положила пластину за черту.

— Руку кладите всей ладонью. Держите, пока не скажу. Что почувствуете — говорите сразу, не подбирая слов.

— А если не почувствую?

— Тогда так и скажете.

Первый раз вышел никакой. Пластина холодная, как всякое железо на весеннем дворе. Под рёбрами ничего. Я сказал, что ничего, и Арина записала.

— У крыльца всегда так, — сказала она. — Дом держит. Тут вы и без печати хозяин.

— А если бы ответило?

— Тогда я велела бы вам сесть и не вставать до завтра.

У ворот было иначе.

Холод пришёл изнутри, и пришёл с запозданием: я успел подумать, что снова пусто. Потом кисть стало тянуть.

— Долго тянет?

— Ещё тянет.

— Теперь?

— Прошло.

Она записала и это. Писала дольше, чем я говорил.

— Ещё раз, у той же черты.

Второй заход у ворот вышел слабее первого. Холод пришёл и почти сразу ушёл, будто его отняли.

— Слабее, — сказал я.

— Так и есть. Кладите снова.

Третий у ворот не дал ничего.

— Всё?

— Всё. — Она провела пальцем по своей строке. — Три касания подряд, и к третьему пусто. Запомните это, оно вам понадобится раньше остального.

— Что оно значит?

— Что запас у вас не бесконечный и считается не днями. Считается разами.

Тут я и заметил. Арина считает вслух и записывает не то, что я говорю, а то, что видит. Я сказал «прошло», а она смотрела на мою руку и ставила что-то своё.

— Что вы пишете?

— Что вы держите правую у пояса. Вы её туда убрали, когда отпустило.

Я посмотрел. Правая была у пояса. Убрал я её туда сам и не помнил когда.

За воротами начиналась дорога, раскисшая до самой канавы. Арина отмерила шагами и провела третью черту.

— Здесь.

Серебряный укол под рёбрами на третьем разе пришёл раньше, чем я коснулся пластины.

Это было хуже всего. Боли не было — было чужое время.

— Сняли руку, — сказала Арина. Не спросила, сказала.

— Я ещё не клал.

— Вижу.

Она села на корточки у черты, взяла пластину двумя пальцами за край и поднесла к свету. Смотрела долго.

— Ну, — сказал я.

— Не «ну», Родион Андреевич.

Она встала и обмахнула колени.

— Вне родового пространства отзыв возможен, но нестабилен. Это я вам скажу и под запись повторю. Дальше начинается то, чего я не скажу.

— Скажите хоть, чего именно.

— Будет ли он у вас в Корпусе, на какой день, что делать, если придёт посреди чужого контура, — этого я не скажу. Я мастер печатного дела, а не гадалка, и отвечаю именем.

— А что скажете?

— Что на чужом контуре опасность идёт не контуру. Контур казённый, его чинят. Опасность идёт носителю.

Она раскрыла тетрадь и показала мне разворот. Три строки, три числа, под каждым помета её рукой.

— Перепишите себе. Своей рукой, не моей.

Я переписал. Писать пришлось левой, и вышло криво.

— Теперь главное, — сказала Арина. — Дома она отвечает на просьбу. За воротами — на нужду.

— Разница?

— Дома вы решаете, когда. Там решает нужда. Прижмут — ответит, хоть бы вы её не звали. А станете звать без нужды — простоите напрасно.

Я дописал и подчеркнул.

— Это можно проверить?

— Проверяют один раз, — сказала она. — Потом либо есть отзыв, либо есть носитель.

Она собрала своё: пластину в холстину, мел в тряпицу, тетрадь под резинку. Складывала медленно и каждую вещь отдельно.

— Сколько у меня разов? — спросил я.

— Сегодня было семь. Два в доме и пять на пробе.

— Я про запас.

— Запаса не считают вперёд. — Арина затянула узел на холстине. — Считают назад, когда уже поздно. Потому я вам и говорю: ведите счёт сами. Число, час, где стояли.

— Арина.

— Да.

— Вы могли сказать «попробуйте».

— Могла, — согласилась она. — Я за пробу отвечаю именем. За ваше «попробуйте» отвечать будет некому.

Двор, грязь по щиколотку, мокрая рубаха. Мешка с мерками Глеб не вынес.

— Сегодня без железа, — сказал он. — Сегодня вы стоите.

— И всё?

— И всё. Три положения. В каждом на вас наступают, а вы не отвечаете.

Он зашёл мне за спину. Толчок в плечо пришёл без предупреждения и был несильный. Я развернулся раньше, чем подумал. Левая уже шла вверх.

— Первое, — сказал Глеб. — Ещё раз.

Он толкнул снова. Я развернулся снова.

На четвёртый раз я успел поймать себя на середине разворота и встал криво, с перекошенными плечами. Хуже, чем если бы ударил.

— Плохо. Поворачивайтесь всем телом и медленно. Руки вниз.

— А если он не один?

— Тогда вас всё равно бьют, барин, — сказал Глеб. — Разница в том, что напишут после.

Он толкал меня ещё раз двенадцать, всякий раз чуть иначе — то выше, то ниже, то в спину, — и я считал до девяти, а потом сбился и считать перестал.

К десятому толчку я перестал поворачиваться на звук. Привычки этой я за собой не замечал: ставить плечо между собой и тем, кто сзади.

Второе положение далось тяжелее. Он взял меня за локоть и держал. Просто держал, не выкручивая. Правая у меня не разгибается, и через полминуты в локте начало ломить.

— Больно?

— Терпимо.

— Освобождайтесь.

Я потянул руку на себя. Он подстроился и держал дальше.

— Опять. Вы дёргаете, и со стороны это борьба. Скажите словами.

— Что сказать?

— Что вам угодно. Главное — раньше, чем дёрнете.

Я попробовал. Вышло глупо и поздно: сначала рванул, потом заговорил.

Пробовали мы это долго, и к концу двор раскис так, что стоял я уже в воде, а не на земле, и вода эта была холоднее всего, что было в тот день.

Третье было простое и оказалось самым скверным.

Глеб встал вплотную и заговорил мне в лицо. Слова были обычные, про лошадей. Важно было расстояние.

Я отступил на полшага.

— Вот, — сказал он. — Этого не делайте.

— Почему?

— Потому что отступил — значит уступил. Остались стоять — значит терпите. И то и другое годится. Дёрнуться нельзя.

Он повторил ещё трижды. На третий я прикусил щёку изнутри и почувствовал вкус железа во рту от прикушенной щеки.

— Хорошо, — сказал Глеб и отошёл.

Я стоял и дышал. Рубаха липла, между лопаток шёл холод.

— Глеб Никитич. Зачем это всё?

Он ответил не сразу.

— Прежний Родион ударил Артемия и этим связал дом на годы. Вы про это читали в бумагах. А я видел.

— Вы там были?

— Был.

Я ждал, что он скажет дальше. Он не сказал. Своей памяти о том дне у меня нет. Ни лица, ни двора, ни того, за что ударили. Всё, что я знаю о собственном поступке, я знаю из протокола и с чужих слов. Человек, который это видел, стоит передо мной и молчит, и спросить его прямо я не могу: мне нечем объяснить, почему я не помню.

— В Корпусе один такой удар закроет всё, — сказал Глеб. — Там правы не вы. Там права форма.

Он подобрал с земли мою шапку и обмахнул её о колено.

— Идите мыться. Завтра рано.

— Вы меня поднимете?

— Вас Матвей поднимет.

Я взял шапку и не сразу понял, что он сказал. Когда понял, то не нашёлся с ответом: всю эту неделю я считал его частью того, что поедет со мной.

— А вы?

— Я остаюсь при доме.

Двор был мокрый, и на нём стояли двое, и один из них никуда не ехал.

— Кто решил?

— Я решил. — Глеб вытер ладони о полы. — В доме останутся баба, старик и пустой архив. Это раз.

— А два?

— А два — вы приедете туда с человеком, который умеет бить. Первое, что они увидят, — не вас. Вашу охрану. И запишут именно это.

Ответить мне было нечем: прав он был по обеим статьям, и вторая была тяжелее первой: человека, который привёз с собой чужие кулаки, в Корпусе прочтут раньше, чем он откроет рот, и прочтут именно так, как ему меньше всего нужно.

— Значит, если там наступят, — сказал я.

— Значит, стойте в третьем положении. И помните, что стоять придётся дольше, чем вам покажется нужным: они ждут не удара, они ждут движения, и первое же ваше движение будет записано вместо всего остального.

Он пошёл к сараю и на середине двора обернулся.

— Родион Андреевич. Между вами и вашей рукой там никого не будет. Это я вам говорю как человек, который стоял между ними четвёртую неделю.

Глава 3. Дорога к наследникам

Выехали до света.

Матвей вывел лошадей сам и сам проверил чеку. Варвара стояла на крыльце с фонарём. Фонарь я видел ещё долго: дорога от ворот идёт прямо и забирает вправо только за мельницей.

Первые вёрсты шли хорошо. Ночью подморозило, колея держала. Я успел подумать, что старый счёт верен, и на том успокоился до девятого часа.

К девятому часу солнце подняло грязь.

Дальше было так. Колея расползлась, обод набрал глины и стал вдвое толще, лошади пошли шагом. На пятнадцатой версте мы встали первый раз. На восемнадцатой второй. Оба раза я вылезал и толкал вместе с возницей: вдвоём выходило быстрее, чем уговаривать лошадей.

Грязь по ободу, мокрые рукава, лошадиный пар, скрип неподмазанной оси.

Ось я велел подмазать на первой же остановке. Возница сказал, что подмажет к вечеру: до вечера она поёт и ничего ей не делается. Спорить я не стал. Человек вёз меня по своему уговору. Гнать лошадей ради моего счёта он не нанимался, и требовать этого было бы глупо.

На третий раз я вылез сам, не дожидаясь, пока он попросит.

Толкать возок в глине — работа, которая всё объясняет про твоё тело быстрее любого урока. Правая держит хуже левой. Упираться приходится плечом, и плечо к полудню начало отзываться в кисти. Я отметил это и сменил плечо.

Между толчками я считал столбы.

Счёт вышел скверный. От дома до первого столба без малого верста. Дальше они стоят по порядку. К полудню мы прошли одиннадцать, к четырём — девятнадцать. До Корпуса по зимнему счёту сто двадцать с небольшим.

Я достал предписание, перевернул и стал считать на обороте, положив лист на колено.

Девятнадцать столбов за девять часов светлого дня. Если завтра будет так же, выйдет ещё девятнадцать. Послезавтра ещё. Итого к исходу третьего дня — около шестидесяти, то есть половина.

Я пересчитал, потому что цифра получалась неприятная.

Вышло то же самое.

Трое суток — не обещание, а лучший случай. Считают по санному пути и ровному ходу. Матвей так и считал, когда называл мне срок. Он не соврал. Он считал по зиме.

Дальше следовало остальное, и оно было хуже арифметики.

Всякое письмо отсюда домой пойдёт столько же. Вчера я записывал трое суток. Выходит пять или шесть, и обратно столько же. Напишет Варвара в понедельник — прочту в воскресенье. Мой ответ ляжет ей на стол через неделю после её вопроса.

Я записал на обороте: двенадцать суток. Подчеркнул.

Дом остался в четырёх сутках от любой помощи, и это я понял ещё утром. К вечеру выходило шесть.

— Далеко ли до станции? — спросил я.

— К сумеркам будем.

— А к завтрашним сумеркам где?

Возница подумал, посмотрел на небо, потом на колею.

— Подмёрзнет ночью — у переправы. Нет — так до неё и не дойдём.

Ответ был честный, и другого он дать не мог.

К пятому часу пошёл дождь, мелкий и без ветра, и глина от него стала скользкой поверху и вязкой внизу. Хуже этого для колёс ничего нет. Лошади начали оскальзываться на подъёмах, и возница повёл их в поводу.

— Долго так?

— До ночи.

— А ночью?

— Ночью подмёрзнет, — сказал он. — Или нет.

Второй раз за день он ответил мне одинаково, и оба раза был прав.

Я слез и толкал до самого поворота, где дорога идёт в гору. Наверху остановились дать лошадям отдышаться. Назад было видно далеко: поле, канава вдоль дороги, чёрные кусты у канавы. Ни одного дома до самого края.

Дома у меня за спиной уже не было видно часа четыре. Я поймал себя на том, что оборачиваюсь, и перестал оборачиваться.

К сумеркам под колёсами пошёл щебень, потом жердяной настил. Впереди стало слышно людей: собака, ведро, чей-то окрик. Возница перекрестился и сказал, что доехали.

Станция стояла у развилки, длинная и низкая, с жёлтым окном в торце. У коновязи стояли три подводы и один крытый возок получше моего. Дверь открывалась и закрывалась часто: народу внутри было много.

Я сложил предписание, убрал во внутренний карман и застегнулся. Считать было больше нечего. К этому я вернусь через сутки, если ночью подмёрзнет.

Внутри было жарко и тесно.

Чад от печи, мокрая одежда сохнет и пахнет. Длинный стол, две лавки, в дальнем углу занавеска. За столом человек десять, и половина из них уже поужинала.

Я взял место с краю, спиной к печи и спиной к тем, кто громче всех.

Это вышло случайно. Свободнее было у окна, но у окна дуло.

— Чаю, — сказал я половому. — И что-нибудь горячее.

Чай отдавал веником. Горячее оказалось щами.

Сначала за столом говорили про дорогу и про переправу, и я слушал вполуха, потому что это было полезно. Выходило, что переправа стоит и раньше четверга не пойдёт. Значит, завтра мы её не минуем.

Потом кто-то сказал «Верицкий».

Ложку я опускать не стал. Опустить ложку — это движение, а движение за спиной слышно.

— Так его же в Палате разбирали, — сказал первый голос, помоложе. — Всю зиму разбирали.

— Какую зиму. С месяц всего.

— Ну с месяц. И что решили?

— А ничего не решили. Печать признали повреждённой, дом оставили, а самого под надзор.

Это было почти верно. Печать признали повреждённой и отвечающей. Дом оставили. Надзор поставили над печатью, а не надо мной. Три слова из четырёх стояли на своих местах. Четвёртое меняло всё.

Поправить его я не мог. Поправишь — придётся объяснять, откуда знаешь, а объяснять придётся собой.

— Это который на Ланского руку поднял?

— Он самый.

— Молодой?

— Молодой. Тогда замяли по родству, а теперь припомнили.

Щи я доел. Не потому, что хотел есть.

Дальше пошло про Софью.

Говорили осторожно, вполголоса, и оттого слышно было хуже, но общий смысл я разобрал: вельский обряд, что-то не так с кругом, кто-то пострадал. Женский голос из-за занавески сказал, что грех это и что о таком за столом не говорят. Ей ответили, что говорят все.

— А сейчас он где?

— Едет в Корпус, говорят.

— Зачем?

— Затем, что велели. Проверять будут, может ли он вообще печать держать.

— А если не может?

— Тогда дому конец.

Тут они сошлись на том, что дому конец, и перешли на цены.

Я дослушал про цены до середины и встал.

Встал я нарочно. Прошёл вдоль стола к печи, снял с верёвки свой кафтан, потрогал сукно и повесил обратно. На это ушло, наверное, полминуты. За полминуты меня видели все, кто сидел за столом, и двое из четверых говоривших посмотрели прямо.

Никто не замолчал.

Я вернулся на своё место и сел. Половой принёс второй стакан, которого я не просил. Я его взял: сидеть без стакана за таким разговором было бы заметно.

Вот это стоило записать отдельно. Про меня знают всё, кроме того, как я выгляжу. Версия ходит без лица. Значит, шла она от того, кто меня написал. Видевших среди них нет.

Я допил чай и посидел ещё сколько-то, чтобы не вставать сразу после разговора. Потом поднялся, взял мешок и пошёл к занавеске, за которой мне отвели угол.

Записал я всё уже там, при свече, в тетради, заведённой под дорожные расходы.

Записывал дословно: кто сказал, что сказал, в каком порядке. Ушло на это больше получаса. Память на чужую речь у меня оказалась хуже, чем я думал, и половину пришлось восстанавливать по обрывкам.

Когда дописал, сел и перечёл.

И вот тут я увидел то, чего за столом не слышал.

В ходу четыре слова — Палата, Софья, Артемий, повреждённый. Порядок их в рассказе всегда один и тот же. Сначала Палата, потом удар и Артемий, потом Софья и обряд, потом печать. Ни один из говоривших не начал с Софьи. С печати тоже никто.

Люди так не рассказывают.

Человек начинает с того, что задело его самого. У каждого это своё. Один взял бы скандал, другой деньги, третий бабу. А тут четверо шли одной дорогой и ни разу не сбились.

Я подчеркнул четыре слова и поставил на полях единицу.

Потом сидел и смотрел на свою запись.

Про тот вечер у Вельских я знаю из протокола, из показаний Артемия и со слов Матвея. Про удар — из четырёх обстоятельств, перечисленных в бумаге Палаты. Своей памяти у меня нет ни на одно из этих событий.

А эти люди за столом помнят. Неверно, криво, с чужого голоса — но помнят, и рассказывают связно, и у них всё сходится.

Чужой рассказ обо мне вышел полнее моего собственного.

Сказать об этом было некому, и я закрыл тетрадь.

Ночью подмёрзло, и до переправы мы дошли к полудню.

Переправа стояла. Лёд тронулся ночью, паром ждал, когда пройдёт шуга, и на берегу набралось подвод пятнадцать. Возница сказал, что раньше вечера не пустят, и пошёл к своим.

Двор станции, ветер по лужам, чужая шинель не по росту, тёплый бок лошади.

Шинель была на парне лет двадцати, который держал двух лошадей и мёрз. Чужую шинель видно сразу: по рукавам и по тому, как человек в ней стоит.

Я подошёл к своим лошадям и встал так, чтобы оказаться рядом.

Спрашивать прямо было нельзя. Вопрос про Верицких на этом берегу означал бы, что спрашивающему есть до них дело. А таких запоминают.

Поэтому я начал с лошадей.

— Ваши?

— Хозяйские.

— Куда ставят на ночь, если паром не пойдёт?

Он показал на сарай за станцией и сказал, что там дорого и тесно. Я согласился, что дорого. Дальше пошёл овёс: вздорожал, а до Корпуса его возят из уезда и берут вдвое.

Про Корпус заговорил он, а не я.

— Вы туда же?

— Туда.

— К набору?

— Набора сейчас нет.

— Верно, — сказал он и обрадовался, что знает. — Осенью набор. А сейчас там тихо.

Дальше я ничего не делал. Человеку дали похвалиться знанием, и остановить его теперь было бы труднее, чем разговорить.

Он рассказал про Корпус. Кормят скверно. Зимой возят дрова. У наследников свои комнаты, у приписанных общая. Наставников семеро, старший из них Бахметев. В прошлом году одного отослали домой, и причина была, только он её не знает.

Я слушал и ждал.

Ждать пришлось недолго.

— А ещё, — сказал он, понизив голос, — говорят, туда едет один. Который на Ланского руку поднял.

Тут я стал слушать по-настоящему.

— Это как же?

— А так. Поднял руку, а дело закрыли по родству. Теперь припомнили.

— За что поднял-то?

— А вот этого не скажу. — Он подумал. — Печать у него повреждённая, вот что главное. Его и вызвали проверять, может ли он её держать.

Я кивнул и стал смотреть на реку.

Смотрел долго.

«Поднял руку». «По родству». «Печать повреждённая».

Вчера на станции, в ста верстах отсюда, говорили теми же словами. Именно теми же, а не похожими.

Совпадают не события, а формулировки.

События у них расходились. Вчера решили ничего, сегодня вызвали проверять. Вчера был месяц разбирательства, сегодня его не было вовсе. События люди помнят как попало, и это в порядке вещей.

А обороты стояли слово в слово, и вот это в порядок вещей не лезло.

Так не говорят. Так пишут.

«Закрыли по родству» — оборот из бумаги. Живой человек скажет «отец отмазал» или «дядя у него в Палате». «Печать повреждённая» — тоже бумага. В разговоре сказали бы «порченая» или «не работает». А «поднял руку» я читал своими глазами. В четырёх обстоятельствах определения оно стояло первым.

Значит, кто-то дал людям читать бумагу.

Или пересказал её кому надо, а те понесли дальше. Разница тут невелика: важно, что источник письменный и один.

— А вы его видели? — спросил я.

— Кого?

— Того, который едет.

— Нет. — Парень пожал плечами. — Кто ж его видел.

— А откуда знаете? — спросил я. — Про печать-то.

— Да все говорят.

— Кто первый сказал?

Парень задумался и полез под шинель почесать плечо.

— Не помню, — сказал он наконец. — Кажется, писарь на прошлой станции. Или проезжий какой. Все ж говорят.

Это был лучший ответ, какой он мог дать, и худший, какой мне был нужен. «Все говорят» — это конец всякого следа. Дальше него не пройдёшь.

Я поблагодарил за разговор про овёс и отошёл к своему возку.

Записывать при нём я не стал. Записал позже, за сараем, стоя, прижав тетрадь к доске.

Три оборота. Против каждого — где слышал первый раз и где второй. Внизу единственный вывод, который из этого следовал.

Версия не растёт. Версию раздали.

Раздали её раньше и не здесь. Эти люди взяли её у других. До Корпуса оставался день пути, и всё это время я ехал следом за собственным описанием.

Паром пустили в ночь, и остаток её мы проспали на том берегу, в избе у перевозчика, вповалку с чужими людьми. Поднялись затемно.

Мороз держал до полудня, и дорога отдавала вдвое против вчерашнего. К полудню мы прошли столько же, сколько в первый день до вечера. Счёт мой выведен был по грязи и честен только для грязи: шесть дней она обещала, три отдала.

Значит, и письмо пойдёт скорее — трое суток, от силы четверо.

К вечеру Корпус показался с горы, за поворотом, и я велел остановить.

— Тут? — удивился возница. — До ворот полверсты.

— Тут.

Он пожал плечами и стал разворачивать лошадей к обочине. Я слез и пошёл пешком.

Дело было не в красоте вида. Всякое имя, названное раньше записи, ложится в чужую версию, а моя версия ехала впереди меня третьи сутки. Прежде чем называться, я хотел посмотреть на место, которое уже посмотрело на меня.

Здание казённое, старое, двор большой.

Стена идёт от угла до угла без разрывов, кроме двух: главные ворота и хозяйственный проезд с другой стороны. Крыша чинена в трёх местах, и чинена по-разному. Окна второго этажа частью забраны решёткой, частью нет. Решётки стоят кусками, вразнобой.

Я пошёл вдоль стены по краю двора.

Смотрел я на то, что видно снаружи, и смотрел по порядку. Сколько входов. Кто ходит без спроса и кто останавливается. Где стоят, а где только проходят.

Вышло вот что.

Входов два, и через хозяйственный ходят чаще. Люди во дворе идут по краю. Середину обходят все, хотя вымощена она лучше всего. Значит, посреди двора что-то бывает, и лучше там не оказываться без надобности.

У дальнего угла стоял сарай с распахнутой дверью, и оттуда несло кухней: капустой и горелым жиром. Двое таскали дрова и прошли мимо меня, не взглянув. Третий, постарше, взглянул и не отвёл глаз, пока я не прошёл.

Людей во дворе мало, и все смотрят на приезжего.

Это не вражда. Так смотрят в любом месте, где новых людей не бывает по полгода. Набора сейчас нет, приезжать некому, и всякий приезжий здесь событие.

У середины стены была калитка, заложенная изнутри. Петли на ней смазаны, а трава под порогом вытоптана. Заложенной калиткой пользуются, и пользуются часто.

Я запомнил её и пошёл дальше.

За углом открылся задний двор: поленница, две бочки, верёвка с бельём. На верёвке висели рубахи одного покроя и одного размера — казённые. Между ними одна чужая, тонкого полотна, и висела она с краю, отдельно.

Мелочь, а полезная штука. Там, где казённое стирают вместе, а своё вешают с краю, есть разделение, и его держат сами жильцы, а не устав.

Я обошёл две стены из четырёх и вернулся к воротам.

Возок стоял уже там: возница подъехал сам, не дожидаясь. У ворот было двое. Один сидел в будке, второй стоял у столба и смотрел, как я иду.

— К кому? — спросил тот, что у столба.

— По определению Палаты.

Он поглядел на мои сапоги, потом на возок, потом снова на сапоги. Сапоги были в глине по голенище.

— Имя.

— Верицкий. Родион Андреевич.

Назвал я его обыкновенно, без нажима на фамилию. Он кивнул и ушёл в будку.

Я остался стоять.

Ветер шёл вдоль стены без перерывов, и стоять было неудобно. Камень под ногами мокрый, и шаги по плитам звучат иначе, чем по земле: суше и короче. За три дня я отвык от твёрдого.

Из будки было слышно, как переворачивают листы.

Переворачивали долго.

Потом первый вышел и встал в дверях с книгой в руках. Вид у него был озадаченный. Это мне понравилось меньше, чем если бы он злился.

— Ещё раз, — сказал он. — Как?

— Верицкий.

— По набору которого года?

— Я не по набору. По определению Палаты.

Он перелистнул назад, потом вперёд. Второй подошёл и стал смотреть через плечо.

— Нету, — сказал первый.

— Смотри в приписных.

— И в приписных нету.

Они посмотрели друг на друга, потом на меня.

— В списках вас нет, — сказал первый. — Ни в одном.

— Может, под другой фамилией? — спросил второй. — Бывает, вписывают по матери.

— Не бывает, — сказал я.

— Тогда ждите. Пошлю за старшим.

Он ушёл, а первый остался и держал книгу открытой, будто она могла передумать.

Я стоял и молчал, потому что говорить тут было нечего.

Три дня я ехал следом за своим описанием, и оно добралось сюда раньше меня и разошлось по станциям на сто вёрст кругом. А в том единственном месте, где имя должно было лежать записанным, его не было вовсе.

Так тоже бывает, и это хуже пометки.

Пометку можно оспорить. Пустое место оспаривать нечем.

Глава 4. Входной список

Старший вышел не сразу и старшим не был. Из канцелярии прислали служащего.

Он посмотрел на меня, потом на возок за воротами, потом на книгу в руках караульного. Велел идти за ним. Повёл вдоль стены, в боковую дверь. Приезжих сюда водят задами.

Тесная передняя канцелярии, лампа с прикрученным фитилём.

Фитиль прикручен ради экономии. В комнате от этого темнее, чем нужно для чтения. На полу чужие мокрые следы. Следов много: за день тут ходили десятки.

Служащий сел за стол и вынес из шкафа две книги.

— Списков два, — сказал он. — Набора и приписанных.

Первую он открыл на букве. Вёл пальцем сверху вниз, дошёл до конца страницы, перевернул. Снова сверху вниз.

— Нет.

Вторую смотрел дольше. Приписные ведутся по числам поступления, и искать в них приходится подряд.

— И тут нет.

Я стоял и ждал, пока он кончит. Перебивать такого невыгодно. Собьётся и начнёт сначала.

— Осенью приезжайте, — сказал он наконец. — С набором внесут.

Я положил на стол определение.

— Я по нему. Не по набору.

Он развернул лист к себе и стал читать. Читал внимательно, губами, и на пятом условии остановился.

— Тут сказано явиться.

— Сказано.

— А в какой список вас писать, тут не сказано.

Там действительно не сказано, и спорить было не с чем.

— Значит, заведите запись и укажите основание, — сказал я. — Определение Палаты и есть основание.

— Определение — не список.

Он придвинул обе книги к себе и положил на них ладони, будто я собирался их взять.

Дальше пошло знакомое. У человека нет правила на твой случай, и придумывать правило он не станет. Он пойдёт искать того, кому положено.

— Человека без набора вносить некуда, — сказал служащий. — Это не я решаю.

— А кто?

— Секретарь по спискам.

— Позовите.

Он подумал. Посмотрел на лампу, потом на часы за своей спиной. Половина десятого.

— Поздно уже.

— Я третий день еду.

Подействовало это не сразу. Он встал, собрал обе книги под мышку и пошёл к внутренней двери.

— Ждите тут.

Сесть он мне не предложил. Стул унёс от стола к стене. Я остался стоять.

Стоял и смотрел на стол. Стол длинный, казённый, с прожжённым краем у чернильницы. Лампа одна. Чистая бумага слева, использованная справа. Правая стопка выше левой раза в три.

Правую стопку я перебрал глазами, не трогая руками.

Сверху лежал наряд на дрова. Под ним требование в уездную управу о подводах. Дальше три одинаковых листа с печатным заголовком и вписанными от руки фамилиями — увольнительные или отпускные, отсюда не разобрать. Ниже пошли счета.

Из этого следовало, что канцелярия тут маленькая и делает всё подряд. Дрова, подводы, люди, деньги — один стол и одна лампа. Отдельного человека на списки при таком хозяйстве держать не станут.

Значит, тот, кто их ведёт, занят ещё чем-нибудь, и списки у него не главное.

Тут я и понял, чего мне ждать.

Записи обо мне нет ни в одной книге. Значит, сейчас её напишут. Напишут при мне, на пустом месте, и напишут так, как решит человек, которого я ещё не видел.

В прошлой моей жизни это звалось иначе, а устроено было так же. Нет готовой графы — её заводят руками. И содержание зависит от того, кто держит перо и сколько ему осталось до конца смены.

Часы за стеной пробили половину. Где-то наверху хлопнула рама, и следом протянуло сквозняком по ногам: в этом доме окна закрывают плохо и знают об этом.

За дверью пошли шаги. Короткие и частые: человек нёс тяжёлое.

Я переложил определение поближе к лампе, чтобы его было видно с порога. Пусть входящий увидит бумагу раньше, чем меня.

Пришёл он через четверть часа. Тяжёлое оказалось связкой ключей.

— Шибанов, Аркадий Львович, — сказал он и сел. — Определение при вас?

Я подал лист. Читал он быстрее служащего и молча. Дочитав, положил лист на стол лицом вниз и раскрыл книгу приписных на последнем исписанном развороте.

Дальше свободного места было много.

— Пишу, — сказал он.

Скрип пера, песочница, чужой почерк с наклоном влево.

Наклон влево встречается редко и всегда заметен. У Шибанова буквы валились назад, а строка при этом шла ровно, без провисания к правому краю. Так пишут люди, которые пишут помногу и каждый день.

Пока он писал, я смотрел на развороте выше.

Приписные шли подряд, по числам. Против каждого имени стояла должность или пометка: писарь, служитель при кухне, помощник при цейхгаузе. У троих в графе дома стоял прочерк. У одного дом был вписан и следом зачёркнут, а поверх зачёркнутого приписано что-то мелкое, отсюда не разобрать.

Зачёркнутый дом — вещь редкая. Дом или есть, или его нет; зачёркивают, когда он был и перестал быть.

Я запомнил место на развороте: третья строка снизу, левый столбец.

Он диктовал себе вполголоса, как диктуют, когда заполняют привычную форму.

— Число. Верицкий, Родион Андреевич, глава дома. Основание: определение Присутствия Палаты родовых печатей. Явился лично.

Я стоял с той стороны стола и читал вверх ногами.

Читать вверх ногами я умею с прошлой жизни. Умение дешёвое и берётся само, если долго сидеть напротив чужого стола. Здесь оно пригодилось впервые.

Шибанов довёл запись до конца и, не останавливаясь, начал следующую.

— Допущен под наблюдением.

Сказал он это тем же голосом, каким называл число.

— Повторите, пожалуйста, — попросил я.

Он повторил пометку и посыпал написанное песком. Я повторил вслед за ним, слово в слово, вслух. Не громко и без вопроса в голосе.

Шибанов поднял глаза.

— Что-нибудь не так?

— Покажите основание.

Он повернул ко мне определение и провёл пальцем по первому условию.

Родовая печать дома Верицких состоит под наблюдением Палаты.

Пометка была не выдумана. Она списана из первого условия Палаты, и всякий, кто станет её проверять, найдёт в определении те самые слова.

Только в определении наблюдение стоит при печати.

А в книге оно стояло при имени.

Я перечитал оба места ещё раз. Вещь была слишком простая, чтобы поверить сразу. Печать под наблюдением — это про предмет и порядок его употребления. Допущенный под надзором — это про человека, которому не доверяют.

Слова те же. Предмет другой. Факт остался тот же. Переменилось то, к чему он относится. Увидеть это можно только на бумаге, где оба места лежат рядом.

Я посмотрел на Шибанова.

Он ждал, придерживая песочницу. На лице читалось одно желание: дописать и уйти. Такое же лицо бывает и у того, кто списал не думая, и у сделавшего нарочно.

Спрашивать, нарочно ли, было бы глупо.

— Дальше, — сказал я.

Он дописал графу «помещение» и поставил прочерк в графе «набор».

— В какой список меня записали? — спросил я.

— В приписные.

— Я глава дома.

— Вижу, — сказал Шибанов. — В набор вас писать нельзя, набора нет. Отдельной книги для вас тоже нет. Остаются приписные.

Сказал он это между делом, и в этом была вся неприятность.

Глава дома в книге, где у половины прочерк вместо дома. Вписали меня сюда потому, что другого свободного места не нашлось.

Спорить с пометкой я не стал.

Пометка списана из определения. Спорить с ней значит спорить с Палатой. В Палате я стоял две недели назад и помню, чем такие споры кончаются для того, кто стоит.

Оспаривать следовало место, куда её поставили.

— Один вопрос, — сказал я.

Шибанов уже тянулся к чернильнице, чтобы закрыть.

— Слушаю.

— Надзор поставлен над печатью или надо мной?

Он остановился. Вопрос был служебный. На служебный в канцелярии отвечают по бумаге, а не по памяти. На это я и рассчитывал.

Шибанов придвинул определение обратно и стал читать первое условие заново. Читал он его второй раз за вечер, и теперь медленно.

Пауза, в которую слышно двор.

Со двора катили бочку. Бочка стала. Заговорили двое, и слов было не разобрать. Пауза тянулась, и на простой вопрос она была длинна.

— Над печатью, — сказал он наконец.

— Сказано именно так?

— Сказано: родовая печать состоит под наблюдением.

Он положил палец на строку и подержал.

— Тогда прошу внести в запись и вопрос, и ваш ответ, — сказал я.

Тут он посмотрел на меня внимательнее, чем за весь вечер.

— Зачем?

— Затем, что запись читают без меня. Я при ней не стою и пояснить не смогу.

Шибанов помолчал, потом отложил песочницу и снова взял перо.

Перо, отложенное и взятое снова, — самое дорогое, что было в тот вечер. Отложенное означает «кончено». Взятое обратно означает, что кончено не совсем.

Он приписал в конце, мелко: «наблюдение установлено над родовой печатью, согласно условию первому».

Потом посыпал песком и стряхнул на пол. Песок для чернил пахнет сухо и пыльно. В комнатах, где много пишут, он стоит всегда.

Я перечёл запись целиком, вверх ногами, ещё раз.

Допущен под наблюдением, а следом приписка про родовую печать и условие первое. Так это теперь и стоит: сперва про меня, потом про вещь.

Стало лучше. Хорошо не стало.

«Допущен» никуда не делось. Стоит оно первым, и читать его будут первым. Уточнение идёт в хвосте и мелким почерком, а до хвоста доходят не все.

Зато всякий, кто дойдёт, увидит и то и другое.

— Больше ничего? — спросил Шибанов.

— Ничего.

Он закрыл книгу и завязал тесёмки. Тесёмки были новые, а книга старая.

— Выписку можно? — спросил я.

— Какую выписку?

— Из записи обо мне. С уточнением.

Шибанов подумал дольше, чем стоил вопрос, и покачал головой.

— Выписки даются по требованию. Требование подаётся письменно и через два дня.

— Тогда подам.

— Подавайте, — сказал он и убрал книгу в шкаф. Ключ от шкафа был на той самой связке — принёс её с собой.

— Ещё одно. В выписку уточнение попадёт?

Он запер шкаф и подёргал дверцу. Дверца держалась.

— В выписку идёт строка целиком.

— Вся строка? Включая мелкое в конце?

— Целиком, — повторил он и первый раз за вечер поморщился. — Я списки веду двенадцать лет. Половину записи не выписывают.

Это я и хотел услышать. Уточнение стоит мелко и в хвосте, зато оно теперь часть той же записи, и разнять их можно только нарочно.

Я перебрал в уме, что вышло за вечер. Одно из двух выправлено. Второе так и останется: в набор меня писать нельзя, а бумага для меня нашлась только в приписных.

Вошёл я в Корпус с оговоркой.

Оговорка теперь стоит там, где ей положено, и это вся сегодняшняя победа.

Оставалось одно, и его нельзя было спросить прямо.

Дома я заверял четыре раза за десять дней, и всякий раз Матвей писал строку в новую книгу. Книга эта прислана из Палаты, и порядок в ней установленный. Значит, здесь должна быть такая же. Или сюда шлют выписки из нашей. Или и то и другое.

Одного я не знал совсем: кто её ведёт. Спросить в лоб значило показать, что мне это важнее прочего. Человек, которому важно, запоминается. Запомнившийся вопрос живёт дольше ответа.

Поэтому я сделал иначе.

Шибанов закрывал чернильницу. Крышка у неё медная, притёртая, и закрывается с щелчком.

— Три вопроса, и я вас отпущу, — сказал я.

— Три так три.

— Бельё своё или казённое?

— Казённое. Выдают в цейхгаузе по средам.

— Особая книга употреблений печати здесь ведётся или выписки шлют в Палату?

— Ведётся установленным порядком.

— В котором часу подъём?

— В шесть. Зимой в половине седьмого, но зима кончилась.

Он ответил на все три подряд, не сбившись и не переспросив.

Я поблагодарил и стал застёгиваться. Застёгивался медленно, потому что теперь надо было разобрать то, что услышал, а разбирать лучше, пока человек ещё рядом.

Первый ответ и третий были полные. Бельё казённое, выдают в цейхгаузе, по средам. Подъём в шесть, зимой в половине седьмого, и даже прибавлено, что зима кончилась.

Средний ответ был другой длины.

«Ведётся установленным порядком» — это четыре слова, и в них нет ни места, ни человека, ни срока. Про бельё он назвал цейхгауз и день. Про подъём назвал два часа и оговорку. Про книгу не назвал ничего.

Разница была не в тоне. Тон он держал один на все три.

Разница была в том, что из первого и третьего ответа я могу пойти и проверить, а из среднего идти некуда.

— Аркадий Львович.

Он поднял глаза.

— А кому подаётся требование о предъявлении книги?

— По требованию предъявляется, — сказал он.

— Кому подаётся требование?

— В установленном порядке.

Дальше спрашивать было нельзя.

Он собрал связку, задвинул стул и взял лампу со стола. Лампу он понёс с собой, и в передней стало темно раньше, чем я дошёл до двери.

Уже в дверях я обернулся.

— Вопрос мой в книгу вы не записали.

— Какой вопрос?

— Про печать и лицо. Вы ответ записали, а вопрос нет.

Шибанов остановился с лампой в руке. Свет пошёл снизу, и лицо у него стало чужое.

— Вопросы в книгу не пишут, — сказал он. — Пишут записи.

И это было правдой, и спорить тут было не о чем. Я вышел в коридор и постоял, привыкая к темноте.

В ответе про особую книгу не было ни одного имени. Ни своего, ни чужого, ни должности. Человек, который двенадцать лет ведёт списки и помнит, по каким дням выдают бельё, не может не знать, кто держит книгу в его же канцелярии.

Значит, знает.

Умалчивают обыкновенно не по незнанию. Умалчивают, когда называть не велено.

В коридоре меня уже ждал служитель с моим мешком. Мешок успели снять с возка, пока я стоял в канцелярии.

Комнату отвели в конце коридора, третьим к двоим.

Служитель донёс мой мешок до порога, поставил его и ушёл, не сказав ни слова. Дверь он открыл ногой, потому что руки были заняты, и дверь открылась легко.

В комнате не запирается дверь. Ни задвижки, ни петли под крюк, ни следа от них на косяке.

Соседей двое, оба из малых домов. Один сидел на койке и разматывал портянку. Второй уже лежал лицом к стене. Тот, что сидел, поднял голову, и я увидел, что он меня узнал.

— Верицкий?

— Верицкий.

— Тучков. Мирон.

Он сказал это раньше, чем я успел назваться сам, и в этом была вся суть.

Второй тоже повернулся и назвал фамилию — я её не разобрал, — и оба поздоровались.

Переспрашивать я не стал. Фамилию тут назовут ещё не раз, и лучше услышать её не от него.

Поздоровались они первыми.

С новым человеком так не здороваются. С новым здороваются после того, как он назовётся, а пока он безымянный — кивают. Со мной поздоровались раньше: имя моё в этой комнате знали прежде лица.

Оба уже слышали его. Я поставил мешок на свободную койку и стал разбирать.

Разбирал я долго и не потому, что вещей много. Вещей было мало: смена белья, бритва, мыло в жестянке, шесть листов чистой бумаги, чернильница дорожная, тетрадь.

Бумаги я пересчитал дважды.

Доверенность, копия определения, предписание Корпуса, выписка из трёх мест второго листа, письмо Матвея о списке затребованного, данное на всякий случай.

Класть их было некуда. Сундук в комнате один, общий, и на нём сидит второй сосед. Под койкой пусто и открыто. Дверь не запирается.

Я сложил бумаги в холстину и положил под тюфяк, к изголовью.

Место скверное. Всякий, кто станет искать, начнёт с тюфяка.

Но тюфяк хотя бы подо мной, а всё остальное в этой комнате — ничьё.

Сырой тюфяк, чужой храп, шаги по коридору мимо двери и обратно.

Храпел тот, что лежал лицом к стене. Шаги шли по коридору дважды: сначала в одну сторону, потом обратно, и во второй раз медленнее. Холод шёл от окна ровной полосой на уровне плеча.

Правая кисть ныла с утра.

Заверений сегодня не было ни одного. Я перебрал день с рассвета и не нашёл ни минуты, когда брался бы за печать.

Свечу я зажёг свою, потому что казённую в комнату не дают.

Тетрадь легла на колено. Писать на колене я приноровился ещё в дороге.

Записал я за день три строки. Первая: пометка при имени и уточнение, приписанное в хвосте.

Вторая: Шибанов, Аркадий Львович, ведёт списки двенадцать лет.

Третья: «установленным порядком» — сказано дважды, и оба раза вместо ответа.

Больше писать было нечего, и это само по себе плохо. За день, в который тебя вписали в чужую книгу, трёх строк мало. Значит, я половину сегодняшнего не разглядел и пойму её позже, когда она обернётся чем-нибудь.

Я посмотрел на три строки и подумал, что утром меня ждёт место в зале, а про зал я не знаю пока ничего.

Потом задул свечу.

В темноте стало слышнее, как за стеной кто-то переставляет ноги, и как далеко, во дворе, закрывают ворота на ночь.

Четвёртую строку я писать не стал.

Приехал главой дома, записан приписанным. Такое в тетрадь не заносят.

Глава 5. Место Верицкого

Сборы в семь, и к семи зал полон.

Зал длинный, два ряда столов во всю длину, скамьи по обе стороны. Скамьи разной высоты. У двери они со спинками и повыше, дальше идут пониже, а у самой стены стоят голые доски на козлах.

Высоту я заметил раньше, чем понял зачем. Гул стоял вполголоса. Человек полтораста, и никто не садится.

Мест не занимают, пока не назовут. Это я понял по тому, что все стояли вдоль столов и держались руками за край.

Дуло от дальней стены. Там окно в две створки, и одна не притворяется.

Ляпин вышел без четверти и стал в проходе с листом.

Никанор Саввич Ляпин, распорядитель мест. Фамилию его я услышал накануне от служителя, а должность — здесь, потому что он назвал её сам, прежде чем начать.

Лист был не его почерком.

Это видно с трёх шагов. Он читал, и палец у него шёл по строке с запинками. На своей бумаге палец так не ходит.

Он начал с ближнего конца.

— Ланской, Артемий. Первый стол, от двери.

Артемий Ланской отделился от стены, прошёл и сел. Садился он не глядя, куда садится.

— Сомов, Кирилл. Второй стол.

Вот, значит, как зовут второго моего соседа. Сомовы — те самые, кому Варвара третьего дня писала про совместное хранение, и ответ им ушёл с утренней почтой за моей подписью.

Вчера он назвался в темноте, я не разобрал и переспрашивать не стал. Теперь фамилию назвали при всех, и спрашивать не придётся.

Он шёл по листу без пауз, и до середины шло одинаково: фамилия, стол, иногда сторона.

Потом он дошёл до места, где строка стала длиннее.

— Тучков, Мирон. Третий стол, от прохода. До конца месяца.

Тучков сел. Никто не повернул головы, и это означало, что прибавка знакома и никого не удивляет.

Значит, у прибавок есть свой список, и он не новый.

Дальше пошли фамилии, которых я не знал. Я считал столы и сторону и скоро сбился, потому что смотрел не туда: я смотрел на его палец. Палец задерживался через строку. Задерживался он там, где стояла прибавка.

Их было шесть до меня.

— Верицкий, Родион.

Я отпустил край стола.

— Дальний конец. У стены. Впредь до распоряжения.

Гул не стих. Я после этого много раз проверял себя, но гул действительно не стих: половина зала ничего не заметила.

Заметили те, кому было зачем. Я стоял. Ляпин опустил лист и держал его у бедра, и это была первая пауза за всё чтение.

Он ждал.

— Верицкий, — сказал он снова. — Дальний конец, у стены. Впредь до распоряжения.

Второй раз он произнёс медленнее и с разделением между словами.

Я расслышал с первого.

Этих слов в предписании Корпуса нет. Там сказано: явиться и быть размещённым согласно положению дома, и ни про какие распоряжения там не сказано вовсе. Предписание я прочёл в дороге четыре раза и знаю его наизусть до подписи.

Стало быть, прибавку взяли не оттуда.

— Хорошо, — сказал я.

Больше я не сказал ничего. Ляпин подождал ещё немного и перешёл к следующей фамилии, и голос у него при следующей был уже обыкновенный.

Я пошёл вдоль стола к дальнему концу.

Идти было шагов сорок, и всю дорогу на меня смотрели, а смотреть было не на что: человек идёт к своему месту.

У стены сидели трое. Одного я узнал по вчерашнему коридору, двух других нет. Все трое сидели на голых досках, и у всех троих в объявлении была прибавка.

Тучкова среди них не было. Тучкова посадили у третьего стола.

Прибавки тут разной цены.

Доска была холодная и узкая, ладони в две с половиной.

Я сел с краю, оставив место для того, кто придёт позже. Сидеть пришлось прямо: спинки нет, и откинуться не на что. Через рубаху сразу пошёл холод от стены. Шёл он полосой поперёк лопаток. К девятому часу полоса стала мокрой.

Место было скверное, и никакого второго мнения тут быть не могло.

Глеб учил садиться так, чтобы потом не пришлось двигаться. Тяжесть на всю ступню. Колени не сведены. Локоть кладут на стол. Кисть кладётся ладонью вниз и лежит. Поднимать её не надо, поправлять не надо, и трогать лицо нельзя совсем.

Я положил обе и посчитал до двадцати, как он велел считать в первый раз.

Правая легла тяжело. Она ныла со вчерашнего, и на холоде сильнее. Но лежала она как надо, и этого было довольно.

Шевелиться здесь дорого. Человек в зале, где полтораста человек и все стоят по местам, виден весь. Резкое движение читают быстрее слова. Отодвинуть скамью, встать, размять кисть — любое из этого в первое утро расскажет обо мне больше, чем я хочу рассказать.

Про буйство они знают. Это было в бумаге, которую читали до меня.

Смотреть не перестали и после того, как я сел.

В упор, конечно, никто не смотрит. Тут смотрят иначе: человек поворачивается к соседу, говорит что-то, а глаза при повороте заходят дальше соседа. Таких заходов было много. Я их не считал, потому что считать было ещё рано.

Соседи по доске сидели молча. Ближний ко мне ссутулился и глядел в стол. Это был тот, кого я видел в коридоре у канцелярии, и он меня узнал, но здороваться не стал. Вчера в коридоре поздоровался бы. Сегодня между нами лежала одна доска на двоих, и цена этой доски ему была понятнее, чем мне.

Он отодвинулся на ладонь.

Отодвинулся он тихо и, может быть, сам того не заметил. Ладонь между нами появилась в первые же минуты и осталась.

Дальние двое сидели спокойнее. У одного на рукаве была штопка, сделанная своей рукой, неровная. Второй комкал на коленях шапку.

Ни один из троих не был мне ни другом, ни союзником. Сидеть рядом со мной им уже стоило дороже, чем вчера.

Ляпин дочитал лист и ушёл. После этого началось обыкновенное утро: перекличка, объявления по работам, кто-то жаловался на дрова. Я слушал вполуха, и руки с места не двинул.

Заходы глаз стали реже.

Я засёк по часам за спиной у двери. Первые четверть часа они шли постоянно, потом стали приходить через раз, а к половине девятого прекратились почти совсем.

Так и должно было выйти. Новый человек в комнате занимателен, пока он новый. Ничего не произошло, никто не встал, никто не возразил, никого не ударили. Смотреть на тихого скучно, и зал переключился на дрова.

Я подождал ещё немного, чтобы наверняка.

Потом поднял глаза. И увидел, что вижу всё.

Стена за спиной, окно сбоку, весь зал впереди. Ко мне спиной — три четверти зала. Лицом — никто.

Меня самого отсюда почти не видно: я в тени простенка, и окно за плечом слепит того, кто станет смотреть сюда с середины.

Я посидел с этим немного.

Место осталось скверным. Ни один из этих расчётов не делает доску шире. Стена от них не теплеет, и прибавка в списке не укорачивается. Понижение никуда не денется и будет мне стоить дорого.

Но платить за него я уже начал, и брать за свои деньги нечего, кроме вида.

Правая к этому часу ныла уже до локтя, и мокрая полоса на спине дошла до пояса.

Половина девятого. Скамьи начали двигать, зал пошёл в работы.

Я сидел и смотрел, как они выходят.

День ушёл на дрова и на цейхгауз. Считать там было нечего: носишь и складываешь.

Трапезная наполняется к ужину дважды: сперва скамьями, потом посудой.

Скамьи двигают все разом, и стук идёт от двери к стене волной. Потом вносят вёдра, и звон перебивает всё остальное. Пахнет кашей и мокрой шерстью. Днём был дождь. Сушилен на полтораста человек не напасёшься.

Вечер у меня был один, и я это знал ещё утром. Завтра меня или пересадят, или ко мне привыкнут. Пересадят — потеряю точку. Привыкнут — станут при мне говорить иначе. Тогда порядок переменится прямо под рукой.

Снимать надо было сегодня.

Мест тут никто не объявляет. Ляпин в трапезную не ходит, листа с фамилиями на входе нет, столы стоят по-другому и скамьи у всех одинаковые. С порога кажется, что садятся кто где.

Входят не толпой.

Первыми идут те, кто сидел утром у двери. За ними середина. Потом мы. Порядок никто не объявляет и никто его не нарушает. В дверях узко, и всё решается там: кто шагнул, кто придержал шаг, кто отступил на полшага и пропустил.

Я встал последним и смотрел из хвоста. В зале места читали по листу. Тут листа нет, а идут в том же порядке.

Артемий Ланской вошёл третьим.

В дверях он придержал шаг и пропустил вперёд сутулого человека со второго стола. Пропустил без слов, просто отступил и подождал. Сутулый прошёл, не поблагодарив, и сел.

Я это отметил и пошёл дальше. За едой говорят мало и в основном о работах. Слушать легче, чем смотреть: голоса идут поверх звона, и половину трапезной слышно с моего конца лучше, чем видно.

Обращения я считал по трём разрядам.

Полным именем с отчеством называли шестерых. Просто фамилией — почти всех. Через дом — «Тучков-то ваш», «от Сомовых сказали» — четверых. Все четверо из домов, которые я утром записал в малые.

Тучкова звали то так, то этак. Сел он и здесь третьим от прохода, как ему объявили утром. Никто ему этого не велел. Но человек с первого стола назвал его по имени и отчеству. И придержал перед ним локоть, проходя. С третьим столом так не разговаривают.

Мирон Тучков при этом сжался.

Ему это не понравилось. Он ответил в одно слово и опустил глаза в миску. Вежливость эта обходилась ему чем-то дорого.

Каша была горячая, и обжёгся я в третий раз за два дня.

После ужина у нас полчаса до отбоя. Я вернулся в комнату первым, сел на койку и вынул лист.

Столбцы легли сами. Слева фамилия, дальше дом, дальше стол и место. Потом — кто кому уступил в дверях. Потом — как звали и кто звал. Так я расчерчивал доступы в прошлой работе. Надо было понять, кто кем распоряжается в действительности. По бумаге это видно не всегда.

Разница только в том, что там мне давали выгрузку, а тут я сам себе выгрузка.

Писал я мелко и без слов, одними знаками.

Первый столбец сошёлся легко: дома по величине я знал ещё из дома, с листов Матвея. Второй тоже: столы объявлены вслух при всех, и тут спорить не с чем.

Третий столбец идти отказался. По столам старшинство выходило одно. По поклонам и обращениям — другое. Совпадало почти везде, и это почти было важнее совпадения.

Расходилось в трёх местах.

Ланского объявили первым у двери, а в дверях трапезной он уступает дорогу второму столу. Тучкова объявили к третьему, а зовут его оттуда, откуда зовут равного. Третий — тот сутулый, которого Ланской пропустил. Объявлен он ко второму столу. При выходе его пропускают вперёд все, включая первый.

Я перечитал три строки и не поверил себе. Считал я весь вечер и мог сбиться где угодно. Дверь узкая, входили быстро. Обращений было много. Сидел я далеко и слышал не всё.

Ошибка счёта — самое вероятное.

Но ошибка счёта ложится россыпью. Сбиваешься в разных местах и по-разному. Тогда не сходится в пяти местах и в десяти. У меня не сошлось в трёх местах, и только в трёх. И все три в одну сторону: человек сидит ниже, чем с ним обращаются.

Тут свечу и погасили. Служитель прошёл по коридору с колпачком. Огонь он снял во всех комнатах подряд, не заглядывая и не спрашивая. Я успел дописать до середины последнего столбца.

Лист я сложил вчетверо и сунул под рубаху. Убирать его в темноте было некуда.

В темноте оставалось думать про эти три места.

Либо я сбился трижды подряд и трижды в одну сторону, чего не бывает.

Либо столы им объявили одни, а старшинство у них другое, и кто-то про это знал, когда сводил лист.

Лежать с этим до утра я не стал.

Проверять было не у кого, кроме того, кто читал лист. Ночь тут стоит дешевле дня: днём каждый шаг виден залу, а ночью в коридоре пусто.

Я встал и вышел. После отбоя вопросов не задают. Зато запрета ходить по коридору нет ни в одной бумаге, а бумаги я тут уже читал.

Ляпин обходит кладовые последним. Это я знал с вечера: связку слышно через две двери. Ключей на ней десятка полтора, и он их не придерживает.

Я вышел на звук и пошёл ему навстречу.

Табаком от него пахло чужим. Дома Матвей курил кислый и дешёвый. Этот был сладковатый. Запах стоял в коридоре ещё долго после.

— Никанор Саввич.

Он обернулся вполоборота и не остановился.

— Поздно.

— На минуту. Про сундук.

Сундук был настоящий. В комнате он один и общий. Занят до крышки вещами тех двоих, кто въехал раньше. Мои бумаги вторые сутки лежали под тюфяком, и ещё одну ночь им там лежать не стоило.

— Свой заводите, — сказал Ляпин. — Заводят у столяра, за свои.

— А поставить куда? Комната полна.

— В ногах поставите. У всех в ногах.

Он говорил на ходу и ни разу не повернулся целиком. Я шёл сбоку и чуть позади, потому что идти вровень значило бы заставить его выбирать между шагом и разговором.

— Понял, — сказал я. — Спасибо.

Мы прошли так шагов двадцать. Тут и надо было спрашивать, пока разговор кончился на благодарности и никакого нового разговора вроде бы не началось.

— Ещё одно, раз уж. Если место придётся менять — к кому идти?

Он дёрнул связкой.

— К Дмитрию Осиповичу. Прошение подаёте, он решает.

Первым он назвал Бахметева. Имя вышло у него раньше, чем он договорил.

Я сказал спасибо второй раз за вечер.

Больше я не спросил ничего и отстал на полшага. Отстать иногда полезнее, чем спросить. Человек, от которого отстали на полшага, договаривает сам, потому что молчание за спиной ему неприятнее вопроса.

Ляпин прошёл шагов пять и сказал, не оборачиваясь:

— Ко мне с этим не ходите. Я по листу читаю. Лист приносят.

Шаги у него не сбились, но связка перестала звенеть: он взял её в горсть.

Про то, кто приносит, он не сказал. Я не спросил.

— Доброй ночи, Никанор Саввич.

— Доброй.

Он свернул к кладовой и загремел ключами, подбирая нужный. Подбирал он долго, дольше, чем подбирал бы в первый раз, и я успел уйти за угол прежде, чем замок открылся.

В темноте я постоял и разложил услышанное.

Сундук заводят у столяра, ставят в ногах. Это полный ответ: место, человек, способ. Проверить можно завтра же.

Прошение о перемене места подают Бахметеву. Тоже полный: имя, должность, порядок.

Про лист ответов было два, и оба в три слова. «Я по листу читаю» и «лист приносят».

Ни имени, ни должности, ни откуда несут. Приносят — это глагол без человека. За два дня я слышал такой глагол трижды: ведётся, предъявляется, приносят. Каждый раз им закрывали одно и то же место.

Ляпин объявляет вслух, и весь зал видит его.

Бахметев решает по прошению, и это знают все, потому что к нему отсылают.

А между объявлением и решением лежит лист, который кто-то сводит. Этого третьего не видно ниоткуда, и Ляпин, у которого ключи от всех кладовых Корпуса, называть его не стал.

Он бы назвал, если бы это было пустое место.

В комнате спал один. Вторая койка стояла пустая.

Тучков лежал лицом к стене и дышал глубоко. Второго не было. Он ушёл после отбоя и ещё не вернулся.

Свечу я зажёг свою, огарок в полпальца. Лист со схемой лежал у меня под рубахой и нагрелся от тела. Я его развернул и перечёл при огарке.

Оставлять эту бумагу было нельзя.

На ней стояли двенадцать фамилий, дома, столы и стрелки между ними. Постороннему объяснить такое не выйдет. Человек, у которого под тюфяком схема с чужими именами и стрелками, ведёт счёт людям. К устройству на новом месте это отношения не имеет.

И под тюфяком её найдут первой. Кружка была на подоконнике, с водой на два пальца. Я подвинул её ближе к свече.

Рвал я мелко, по строке.

Клочок брался за уголок и подносился к огню. Загорался он не сразу: бумага казённая, плотная. Огонь шёл по ней медленно, и ждать приходилось до самых пальцев. Потом остаток падал в кружку и шипел.

Двенадцать фамилий — это вышло двадцать с лишним клочков.

Запах пошёл на третьем. Я его не ждал такого сильного. Горелая бумага пахнет резко, и запах стоит долго. Окно закрыто, человек спит, и деваться этому запаху некуда.

Тучков не проснулся. Дышал он так же.

Я всё-таки открыл створку на ладонь и жёг дальше у щели. На этом ушло ещё минут пять: у щели дуло и огарок гас.

Последний клочок ушёл под воду, и я помешал в кружке пальцем.

Вода стала серой, с чёрными хлопьями. В окно такую не выльешь на глазах. До утра постоит, а утром её вынесут вместе со всем прочим.

Теперь на бумаге у меня не осталось ничего. Это было неправильно. Вечер стоил мне места у стены, мокрой спины и сожжённого часа. Уйти из него с пустыми руками значило заплатить впустую.

Я взял чистый лист и написал три строки.

Не схему. Три вопроса, которые может задать кто угодно на второй день. По ним обо мне не понять ничего.

Первый: у столяра — сундук, поставить в ногах. Второй: прошение о перемене места — Дмитрию Осиповичу Бахметеву, старшему наставнику.

Третий: где записан здешний порядок.

На третьем перо остановилось. Порядок здесь есть, и он работает без сбоев. Кто входит первым, кого зовут по отчеству, кому уступают в дверях, за каким столом сидит человек из малого дома. Всё это соблюдают полтораста человек. Соблюдают не сговариваясь и не глядя друг на друга.

Значит, где-то это записано.

Я перебрал, где именно. В предписании Корпуса нет. В определении Палаты тем более. В книге приписных стоят фамилии и пометки, и порядка старшинства там нет. Устава я не читал. В уставе пишут про часы подъёма и про дрова. Про то, кто кому уступает дорогу в дверях, там не пишут.

Стало быть, записи нет нигде. Я сидел с пером и понимал, что вопрос поставлен криво. Спрашивать надо было, у кого этот порядок в голове.

Такая вещь стоит дорого и денег не стоит вовсе.

Тому, кто её знает, платят не монетой, и он это понимает лучше меня. Значит, придётся искать, чем платить, и торговаться я буду со своего конца скамьи.

Третью строку я оставил без ответа и подчеркнул. В коридоре стукнула дверь, потом вторая, и пошли шаги. Сомов возвращался, не таясь, и по шагу было слышно, что он не трезв.

Я задул огарок и отодвинул кружку в тень.

Он вошёл, постоял в дверях и потянул носом. Постоял он дольше, чем стоят на пороге тёмной комнаты. Потом прошёл к себе, сел на койку и стал разуваться, и ни слова не сказал.

Завтра меня посадят у той же стены.

Место не поменяется ни от чего из сделанного за этот вечер, и я это знал, когда садился. Но теперь я знаю, из чего тут собран порядок, а он не знает, что я это знаю.

С таким запасом я выйду в зал завтра.

Глава 6. Правила без правил

Прошение о разговоре я подал накануне, и приняли его на девятый час.

Писал я его четырьмя строками и переписывать не стал. Просьба указать, где записан порядок, длиннее четырёх строк не бывает. Длиннее её пишут те, кому нужен отказ за форму.

Кабинет оказался в конце верхнего коридора, за низкой дверью.

Печь в нём не топлена. Понял я это с порога, по воздуху. Он стоял такой же, как в коридоре. Пахло старой золой. В комнате, где топят, пахнет иначе.

Дмитрий Осипович Бахметев сидел за столом и что-то дочитывал.

Сесть он не предложил. Стул для посетителя был. Один, у стены, придвинутый к ней вплотную. Придвигать его самому — тот самый жест, о котором потом рассказывают.

Я встал у стола и подождал, пока он дочитает. Часы на стене шли громко. Громче, чем нужно часам там, где разговаривают. За полторы минуты я насчитал девяносто с чем-то ударов. На последнем десятке сбился: он поднял голову.

— Верицкий.

— Родион Андреевич.

— Знаю. Слушаю.

Чернильница у него была закрыта. Медная, с притёртой крышкой, такая же, как у Шибанова. Видно, их выдают из одного места.

За весь разговор он её не открыл.

— Я приехал вне набора, — сказал я. — Порядок Корпуса мне неизвестен. Прошу указать, где он записан.

Он посмотрел на меня и подождал, не прибавлю ли я ещё чего-нибудь.

Я не прибавил.

— Устав в канцелярии, — сказал он. — Подъём, отбой, работы, взыскания.

— Устав я спрошу. Мне нужен порядок для приехавшего вне набора.

— Такого нет.

Сказал он это ровно и без тени неловкости, как называют число.

— Совсем нет или мне не выдают?

— Совсем нет. Набор приходит осенью, и его ведут с первого дня. Вы приехали один и не в срок. Писать порядок под одного человека никто не станет.

Это было правдой. За такую правду держатся охотнее всего: она и верна, и ничего не стоит.

— Тогда по чему мне жить?

— Положено знать самому.

Я помолчал и спросил ещё раз, другими словами.

— Кто мне скажет, чего здесь делать нельзя?

Тут он в первый раз отложил то, что читал.

— Родион Андреевич. Вы спрашиваете об одном второй раз.

— Я спрашиваю о разном.

— Тут это слышат одинаково. — Он положил руки на стол. — Переспросившего записывают неуправляемым. Не я записываю. Оно само складывается и потом вынимается в удобную минуту.

В кабинете стало слышно, как за окном везут по двору что-то на железном ходу.

Он ждал третьего вопроса.

Я его не задал. Третий вопрос у меня был готов и стоил бы дороже двух первых вместе. Про особую книгу употреблений я тут спрашивать не собирался. Но отказ дважды подряд разгоняет: третье просится само. На это, кажется, и был расчёт.

— Благодарю, Дмитрий Осипович.

— Ступайте.

Я вышел и притворил за собой дверь.

В коридоре было теплее, чем в кабинете. Из этого кое-что следовало о том, кто тут сидит по своей воле.

Спрашивать сверху больше нельзя.

Значит, остаётся снизу, а внизу даром не говорят.

В канцелярию я шёл за выпиской, поданной третьего дня.

Двор пришлось пройти наискось, мимо колодца. Вода между плитами стояла со вчерашнего, и обходить её было дольше, чем пройти насквозь. Я прошёл насквозь и намочил сапоги.

Канцелярский коридор длинный и заставлен. Стопки стоят вдоль стены в рост человека и перевязаны накрест. По корешкам видно: лежат не первый год. Проход остаётся шириной в плечо. Разойтись вдвоём можно, только если один прижмётся.

Столов в коридоре четыре, и все четыре заняты.

За первым сидел Шибанов и писал. Меня он увидел, кивнул на «здравствуйте» и опустил голову обратно. Занятого узнаёшь по кивку.

За вторым сидел Илья Руднев. Я его узнал сразу. Хуже в этом коридоре случиться ничего не могло.

Он изменился мало. Те же плечи, вбирающиеся внутрь. То же лицо человека, которому всё время немного холодно. Волосы стали короче, и от этого шея казалась длиннее.

Руки у него были в чернилах по вторую фалангу.

Он прятал их под столом, на коленях, и вынимал только обмакнуть перо. В Палате они были за спиной всё то время, пока он говорил. Тогда я думал, что от холода.

Теперь я видел, что не от холода. В Палате за него поднялся весь его дом, и поднялся против него. Старший брат сказал при всех, что дом к сказанному отношения не имеет, и это легло в бумагу. От человека, за которого сказано такое, отрекаются раз и навсегда.

А он тут, и он считает.

Я замедлил шаг на полшага и тут же выправил. В коридоре были двое служителей. Один стоял у третьего стола и ждал подписи. Второй шёл мне навстречу с папками и прижался к стопкам, пропуская.

При них поздороваться значило назвать.

Я прошёл мимо второго стола, не поворачивая головы. Илья на меня не посмотрел. Перо у него не сбилось, и строка не дрогнула, и это значило, что он меня тоже узнал и решил раньше меня.

Выписку мне выдали за четыре минуты. Строка целиком, как обещал Шибанов, с уточнением про родовую печать в хвосте. Я сложил её вчетверо и убрал. Радости от неё было меньше, чем я рассчитывал два дня назад: бумага, полученная в срок, перестаёт быть победой.

Дальше я ушёл во двор и ждал час.

Час — это тот срок, за который в казённом доме меняется всё. Служители расходятся на обед, посетители уносят своё, коридор пустеет. Считать я это не считал: просто сидел на бревне у поленницы и смотрел на дверь канцелярии.

За час из неё вышли семеро и вошли двое. Обратно я пошёл, когда со двора потянуло кухней. В коридоре было пусто, только у дальнего окна кто-то возился со ставней, и по звуку выходило, что он там надолго.

Третий стол пустой. Четвёртый пустой.

Шибанова за первым не было. За вторым сидел Илья и считал по книге, ведя пальцем по столбцу.

Я подошёл и встал сбоку, чтобы не загораживать ему свет.

Он дописал число, положил перо и выпрямился. И только тогда поднял глаза.

— Родион Андреевич.

— Илья Петрович.

Больше он ничего не сказал. О Палате разговора не будет: это стало видно по паузе.

Он посмотрел мимо меня, в конец коридора, туда, где возились со ставней. Посчитал что-то про себя. Потом положил обе руки на книгу, ладонями вниз. Только тут стало видно, насколько они у него в чернилах.

— Не подходите ко мне при людях, — сказал он.

Ни «здравствуйте», ни «как вы здесь». Первое, что он сказал мне со дня Палаты, было условие.

— Хорошо.

— И по имени вслух не называйте.

Как он попал сюда за семнадцать дней, я не спросил. Человек, который начинает с двух условий, на третий вопрос не ответит, а спросить можно один раз. Вопрос я оставил при себе и записал вечером отдельной строкой, без догадок.

— Хорошо.

Он подождал, не прибавлю ли я вопроса.

Вопрос у меня был, и не один. Но условие он ещё не договорил. Перебить сейчас значило заплатить дважды.

— Что вам нужно? — спросил он.

Отвечать в коридоре он не стал.

Встал, закрыл книгу и взял её под мышку. Пошёл вглубь, мимо третьего стола, к низкой двери без таблички. Я досчитал до двадцати и пошёл следом.

Дверь он оставил притворённой на палец. За ней кладовая: полки, мешки, весы с гирями на верхней полке. Свет идёт через щель над притолокой. Его хватает увидеть, где стоит другой, и не больше.

Пахнет мышами и мукой.

Илья встал у полок, лицом к ним. Я встал у стены, лицом к двери. Он говорил в полки, я в дверь, и ни один не повернулся.

— Говорите тихо, — сказал он. — Тут слышно из-за стены.

— Мне нужен здешний порядок.

— Устав в канцелярии.

— Устав я возьму сам. Мне нужно другое.

Он подождал. Ждал он умело: не понукая и не помогая.

— Мне нужно то, чего в уставе нет, — сказал я. — Кто с кем говорит первым. Кому можно поправить. Кого не переспрашивают. Всё, за что здесь наказывают без бумаги.

— Зачем вам?

— Затем, что меня уже записали приписанным и посадили у стены. Второй раз я хочу знать заранее.

Он переставил гирю на весах и поставил обратно.

— Я вам это скажу.

— Сколько?

— Денег не надо.

Тут я пожалел, что стою лицом к двери. Отказавшийся от денег берёт дороже. Это верно везде, и в казённых домах особенно. Но торговаться сейчас значило показать, что платить я не готов. Я был готов.

— Называйте.

— Три условия, — сказал он. — Первое. Вы не подходите ко мне при людях. Никогда, ни по какому поводу, даже если повод хорош.

— Принято.

— Второе. Вы не называете меня по имени вслух. Ни в разговоре, ни в просьбе, ни в жалобе. Если вас спросят, откуда вы знаете порядок, вы отвечаете, что видели сами.

— Принято.

— Третье. — Он замолчал и переставил гирю обратно. — Вы не ссылаетесь на меня ни при каких обстоятельствах. Ни перед наставником, ни перед Палатой, ни перед вашим домом. Даже если я к тому времени умру.

За стеной кто-то прошёл по коридору и остановился.

Мы оба стояли и ждали, пока он пойдёт дальше. Он пошёл дальше через полминуты.

— Есть четвёртое? — спросил я.

— Есть. Только это уже не условие. Объяснение. Я говорю вам это не из благодарности.

— Я и не думал.

— Думали. — Голос у него не переменился. — В Палате я поднялся сам. Вы мне ничего не платили и ничего не обещали. Но я тогда взял с вас лист и унёс его к себе, и это была услуга, и она числится. Сегодня я её отдаю.

Он повернул голову на четверть, не досматривая до меня.

— Отдаю целиком. Второго раза не будет. Если вас начнут бить, я не встану.

— Понял.

— Не поняли. — Он опять смотрел в полки. — Вы ответите «встану за него», когда придёт время. У вас это на лице с той минуты, как вы меня узнали. Нет. Вы не встанете. Это и есть цена.

Мука за его спиной пахла тепло и сладко, а холод от пола шёл в ноги.

Я подумал столько, сколько думают о том, что уже решено.

Отказаться я мог. Тогда я не получил бы правил и получил бы Илью, за которого можно вступиться и который через месяц вылетит отсюда вместе со мной. Купить и промолчать — значит однажды стоять и считать чужие плиты под ногами.

Дом стоит на сроке до четвёртого числа, и в доме сидит Варвара, у которой моя доверенность.

— Повторяю вслух, — сказал я. — При людях не подхожу, по имени не называю, не ссылаюсь ни перед кем и ни при каких обстоятельствах, включая ваш случай. Счёт за Палату закрыт сегодня, второго раза нет. Если вас начнут бить, я не встану.

Он слушал, не перебивая, до последнего слова.

— Так, — сказал он.

— Принято.

За стеной опять пошли шаги, и в этот раз не остановились.

Полминуты он слушал коридор, прежде чем начать.

Считал он их по себе, губами не шевеля. Начал, когда за стеной стало пусто.

— Первое. Здороваются первыми снизу вверх, а спрашивают сверху вниз.

Я повторил своими словами:

— Кланяюсь я, а спрашивают меня.

— Вы поняли наполовину. Спрашивать вправе тот, кто выше. Если спросили вы, вы этим заявили, что выше. За такое не наказывают, за такое отвечают.

Я переложил это ещё раз и повторил.

— Значит, всякий мой вопрос читается как притязание. И платить придётся за самый вопрос, ответ тут ни при чём.

— Так.

Второе он дал сразу, не дожидаясь.

— Свидетель. Если при вас что-то случилось и вас позвали, вы говорите. Без зова молчите. Приписанный свидетелем не бывает вовсе. Наследник малого дома бывает, но его слово идёт после слов большого.

— То есть меня позовут только тогда, когда моё слово кому-то выгодно.

— Или когда нужно, чтобы вы его при всех не сказали.

Тут я переспросил, и переспросить стоило.

— Как это делается?

— Вас зовут, спрашивают о мелочи и отпускают. Вы позваны и отвечены. Второй раз по тому же случаю не зовут.

Голос у него шёл на одной высоте, без ударений. Слова ложились одно за другим, готовые.

Проговаривал он это раньше, и не однажды.

— Третье. Поправить обращение вправе тот, кого назвали ниже, чем он стоит. Больше никто. Если вас назвали неверно и вы поправили, вы в своём праве. Если поправили за вас — вы должник.

— А если назвали верно, но неприятно?

— Терпите. Это не ошибка.

Четвёртое он выговорил медленнее прочих.

— Молчат приписанные, служители и все, кого перевели за проступок. Молчат не в смысле «не разговаривают». Молчат в смысле «не заявляют». Заявить может тот, у кого есть дом за спиной.

— У меня дом есть.

— У вас дом под наблюдением Палаты, — сказал он. — Это не то же самое, и здесь это знают все.

От пола по-прежнему тянуло холодом, а мешки за его спиной пахли тепло.

Я повторил ему все четыре, по одному, своими словами, без единого его слова.

Он поправил меня дважды. Сперва на «выше по дому»: надо «выше по месту», место и дом тут разное. Потом на молчащих. Я решил, что молчащий пожаловаться не может. Может. Только подаёт жалобу за него другой.

Записывать при нём я не стал. Тетради у меня с собой не было нарочно. Человек, который пишет при разговоре, показывает, что разговор важен, а тут и без того всё было слишком важно.

Оставалось одно, и я подошёл к нему сбоку.

— Печать моего дома под наблюдением Палаты. Значит, каждое её употребление где-то записывают.

Голос его не переменился.

— Записывают.

— Здесь?

— Есть особая книга.

Он сказал это и замолчал.

Между «есть особая книга» и молчанием не легло ни вдоха. Слово он не подбирал: он знал, где остановится, ещё до того, как начал фразу.

— Кто её ведёт?

Он не ответил и не переменил позы.

— Где она лежит?

То же самое. Я сосчитал до пяти и не стал спрашивать в третий раз.

Он взял книгу с полки, куда положил её, входя, и повернулся к двери.

— Порядок вы теперь знаете, — сказал он. И вышел.

Я подождал в кладовой ещё минуту, для приличия, и вышел следом.

Сбился он на слове «порядок». На нём одном за весь разговор. Незнающий переспросил бы или отшутился. Он просто закрыл дверь и стал у неё.

Значит, книга есть, и человек при ней тоже есть.

И этот человек Илье чем-то страшен.

Голоса со двора я услышал ещё в коридоре, от двери.

Их было много, и шли они без выкриков, ровным гулом. Дюжина человек, которым некуда торопиться.

На крыльце три ступени, и с верхней виден весь двор.

Снег сошёл окончательно за эти два дня. Вода стоит между плитами длинными полосами, по швам. Обойти её от крыльца до противоположного угла нельзя: плиты уложены давно и просели.

Посредине двора стоял круг. Человек четырнадцать, кольцом, лицом внутрь, и в середине говорит один. Говорил невысокий, в новом кафтане, и говорил смешное. Круг смеялся с опозданием в полтакта, как смеются при старшем.

Артемий Ланской стоял к крыльцу спиной.

Я узнал его по затылку и по плечам. Неприятно было и это: спину помнит тело, помнит раньше головы, и решить тут ничего нельзя.

Прежний Родион знал эту спину близко. Дорога от моего крыльца до противоположного проходит мимо круга в трёх шагах. Обойти можно двумя путями: вдоль стены направо, через лужи, или вдоль поленницы налево, где придётся идти боком между дровами и сараем.

Оба обхода займут вдвое дольше и будут видны всем.

Я пошёл прямо.

Шаг я не менял и глаз не поднимал. Смотрел в плиты перед собой, на два шага вперёд: под ногами стояла вода, и смотреть туда было естественно. Направление удобное. Оно ничего не значит и ни на кого не наведено.

Голоса стихли, когда я поравнялся с кругом. Не разом. Сначала перестал говорить тот, в кафтане, потом умолкли ближние ко мне, потом дальние. Вышло это волной, справа налево, и волна шла быстрее, чем я.

Круг расступился.

Двое, стоявшие к дорожке ближе всех, отступили на полшага каждый. Места мне и без того хватало: дорожка шире их двоих. Они отступили не затем, чтобы пропустить.

Они отступили, чтобы это было видно. Артемий не обернулся.

За все восемь шагов, что я шёл мимо, он не повернул головы. Стоял, слушал того, кто уже молчал, и держал руки в карманах. Один раз он что-то сказал вполголоса соседу, и сосед ответил в два слова.

Ни моего имени, ни дома в этих двух словах не было. Я шёл слишком близко, чтобы не расслышать.

За спиной у меня голоса начались снова.

Начались они через полторы секунды. Первым заговорил уже кто-то другой, не тот, в кафтане. Смеха больше не было.

У стены, в тени под окнами канцелярии, стоял Илья.

Он вышел с папками и остановился, дожидаясь, пока пройдут. Стоял он там, где стоят приписанные: не в проходе и не на виду. На двор он смотрел, на круг смотрел, на меня — нет.

Ни один из нас не сделал ничего. Он не кивнул, я не замедлил шаг. Мы разошлись в десяти шагах друг от друга, и со стороны это выглядело как ничего.

Этого я и купил утром. Товар выдали в тот же день.

До противоположного крыльца я дошёл и не обернулся.

Сапоги промокли окончательно, и правая кисть ныла с самой кладовой. Заверений сегодня не было опять, и связь тут была уже не в них: ныла она от холода.

Меня не окликнули.

Артемий Ланской здесь, знает, что я приехал, и стоял в пяти шагах. Окликнуть было проще всего: одно слово при четырнадцати свидетелях, и я обязан отвечать при них же.

Он не окликнул.

Значит, у него есть время, и он знает, что оно есть. А у меня до четвёртого числа двадцать пять дней, и половину из них я проведу тут, ожидая, когда он выберет минуту.

Глава 7. Первое построение

Строятся в половине восьмого, и об этом мне никто не сказал.

Узнал я накануне, за ужином, из чужого разговора через стол. Тучков тоже не сказал. Не из злого умысла: он привык, что это знают все.

Во дворе уже стояли, когда я вышел. Строй идёт поперёк двора, в четыре шеренги, лицом к крыльцу канцелярии. Между шеренгами шага полтора. Плиты мокрые, вода стоит в швах длинными полосами. Первая шеренга в неё и поставлена.

Строятся по наборам.

Это видно с первого взгляда, даже не зная порядка. Правый край первой шеренги старше всех. Там люди за двадцать, и стоят свободнее. Дальше вглубь возраст падает. Четвёртая шеренга — мальчишки лет шестнадцати, и они переминаются.

Своего набора у меня нет. Я встал позади четвёртой шеренги, с краю, где было место. Простоял так минуты две.

Потом подошёл распорядитель.

Подошёл не Ляпин. Другой, помоложе, с повязкой на рукаве, из тех, кому поручают выравнивать. Он посмотрел на меня, потом на четвёртую шеренгу, потом опять на меня.

— Вы какого набора?

— Я по определению Палаты.

Он подумал. Думал недолго и без неприязни: у него просто не было графы.

— Тогда назад. За строй.

Я отошёл на четыре шага назад. Там уже было шестеро. Двое служителей в сером, один кухонный, один при цейхгаузе и двое приписанных. Стояли они свободно, кучкой: за строем никого не выравнивают.

Илья оказался вторым слева.

Он не повернул головы. Я встал третьим справа, через двоих, и тоже не повернул. Между нами было шагов пять. За всё построение ни один из нас не сделал лишнего движения.

Место это не наказание. Приписанные и служащие стоят за строем всегда. Наследники стоят в строю. Меня поставили туда, где стоят приписанные, и придраться тут не к чему. Порядка для приехавшего вне набора нет. Без порядка законно всякое решение.

Я выровнялся по последней шеренге сам.

Делать этого не требовалось. За строем не выравнивают. Но стоящий как попало рассказывает о себе больше, чем думает. Я предпочёл рассказать поменьше.

Дальше началось стояние. Ветра в строю почти нет: его закрывают спины впереди. За строем спин нет. Ветер шёл через двор от ворот, с северной стороны. За первые четверть часа он выстудил ноги до щиколоток.

Я считал по четвертям.

Первая — холод в пальцах. Вторая — вся ступня. К третьей перестала чувствоваться правая кисть, и это было даже кстати: ныть она перестала тоже.

Стоять неподвижно я умею с дома. Глеб учил стоять сорок минут во дворе после занятия. Тогда я считал это издевательством. Тогда я вообще многое считал издевательством, и почти всё из этого пригодилось раньше, чем я рассчитывал.

Впереди, в строю, начали переминаться четвёртые.

Мальчишки мёрзли и двигали ступнями по очереди, по одной, чтобы не заметили. Их и не замечали: распорядитель шёл вдоль первой шеренги и на четвёртую не смотрел.

За строем не переступил никто. Служители не шевелились вовсе, и это было понятно: им дороже. Илья стоял, сцепив руки перед собой. Видел я только спину и плечи.

Плечи у него были прямые.

Так стоит человек, которому второй раз сюда не встать.

В четверть девятого на крыльцо вышли трое.

Строй замер весь, разом, вместе с четвёртой шеренгой. Разговоры кончились раньше, чем прозвучало первое слово: я не заметил, кто подал знак, и после долго не мог понять, был ли знак вообще.

Читал перекличку средний из троих.

Лист он развернул не спеша и откашлялся дважды. Голос у него был поставленный, для двора. От стены он возвращался с задержкой в полудару. Слово доходило дважды, второй раз глуше.

Начали с первого набора, справа.

— Ланской, Артемий, дома Ланских, за старшего.

Отозвался он одним словом, и я его не разобрал из-за задержки.

— Шереметьев, Павел Ильич, дома Шереметьевых.

— Корсаков, Никита Дмитриевич, дома Корсаковых, второй.

Имена шли длинные. Имя, отчество, дом, иногда прибавка: «за старшего», «второй», «по младшей линии». Каждое звучало секунды три. Три секунды — много для переклички, где полтораста человек, и никто их не сокращал.

Потом пошёл второй набор, и прибавок стало меньше.

Потом третий. Там называли имя, отчество и дом, без всякого хвоста. К четвёртому осталось имя и дом. Мальчишек звали так: «Голицын, дома Голицыных». Отчество у шестнадцатилетних, видно, ещё не обязательно.

За строем читали в конце.

— Служитель при кухне Фомин.

— Служитель при цейхгаузе Дурново.

— Приписанный Руднев.

Илья отозвался тем же словом, каким отзывались все, и на той же ноте.

— Приписанный Селиванов.

И дальше, без паузы, тем же голосом:

— Верицкий, допущенный.

Не «Верицкий, Родион Андреевич, дома Верицких».

Ни «наследник», ни «глава дома». Два слова. Столько же, сколько у служителя при кухне, и на одно меньше, чем у Ильи, потому что у Ильи было слово о звании, а у меня — о допуске.

Отвечать надо было сразу.

Пауза при перекличке слышна всем и читается как растерянность. Я это понимал ещё до того, как прозвучала моя фамилия, потому что к своей фамилии в списке готовишься с первой буквы алфавита.

Поправлять перекличку нельзя. Поправить чтеца значит сорвать чтение. Сорванная перекличка — это уже происшествие, и в происшествии виноват тот, на ком она сорвалась. Такую цену я знал.

Но чем отвечать, нигде не сказано.

В уставе есть перекличка. Формы ответа в уставе нет: она в обычае, а обычай я вчера купил за то, что не встану за Илью. И по обычаю отвечает человек тем, чем назовётся, а называют его так, как он себя поставил.

Я ответил полной формулой.

— Верицкий Родион Андреевич, глава дома Верицких, по определению Присутствия Палаты родовых печатей.

Голос я не поднимал. Двор большой, и от стены всё равно возвращается: громче нужно тому, кого не слушают.

Слушали все. Это я понял по тому, как стало тихо. Перекличка — вещь скучная, под неё разговаривают вполголоса и шевелятся. Секунды три после моей формулы не шевелился никто.

Три секунды — столько же, сколько занимало имя Ланского.

Чтец подождал, не прибавлю ли я ещё чего-нибудь, и пошёл дальше по листу.

Он не поправил меня и не переспросил. Поправлять было нечего: всё названное было правдой, а правду при перекличке не запрещают.

Дальше читали ещё минуты две.

Я стоял, слушал чужие имена и считал, сколько раз мне придётся повторить свою формулу, прежде чем её начнут произносить за меня.

Выходило много.

Каждый день по разу, и каждый день это будет доказательством. Сокращать теперь станут чаще: назвавшийся целиком сам показал, где ему больно.

Лист кончился, и строй распустили одним словом.

Двор пришёл в движение сразу, весь. Из четырёх шеренг он рассыпался в сотню человек за полминуты. Стало видно, кто с кем стоит, когда стоять не велено.

Круг вокруг Ланского собрался первым. Четверо, потом шестеро. Подходили по одному. Каждый останавливался в шаге и только потом входил внутрь. Два раза я видел, как подошедший ждал кивка.

Кивал Артемий не всем.

Он стоял, не сходя с места, где стоял в строю, и круг собирался к нему. Это самое дешёвое и самое верное доказательство старшинства: тот, к кому приходят сами, не тратится на то, чтобы прийти.

Дома у них были разные. Я узнал три фамилии из переклички и одну не узнал. Четыре дома, и все четыре из первого набора, то есть из тех, кто здесь третий год и дольше.

До крыльца было два пути.

Прямой шёл мимо круга, в трёх шагах, по сухой полосе плит. Обходный — вдоль стены направо, через воду, и выходил на то же крыльцо, только шагов на двадцать длиннее.

Оба видны всему двору одинаково. Я это понял, ещё стоя в строю, и потому думать было нечего. Обход прочли бы как обход. Прямая дорога читается как прямая дорога, и читается она короче.

Я пошёл прямо.

Шаг менять я не стал. Шаг у меня после четверти часа на холоде и так был тяжелее обычного, и это тоже читалось, но с этим сделать было нечего.

За три шага до круга разговор в нём стих. Стих наполовину. Говоривший договорил слово и встал на середине второго. Остальные не оборачивались. Оборот здесь уже внимание, и стоит оно дорого.

Ближе всех ко мне стоял не Артемий.

Ко мне спиной стоял тот, невысокий, в новом кафтане, вчерашний. Между его плечом и моим плечом было вершка два, и он не подвинулся ни на волос, когда я проходил.

От него пахло чужим табаком. Тот же сладковатый, что и в коридоре у Ляпина. Значит, табак тут один на всех, кто курит, и покупают его в одном месте, и это надо будет когда-нибудь вспомнить.

Артемий стоял четвёртым слева.

Я видел его боковым зрением полторы секунды. Голову он не повернул. Руки, как вчера, в карманах. Лицо спокойное и скучающее, и оно мне ничего не сказало.

Я его не помню. По бумаге я ударил этого человека. По бумаге он говорил в Палате наизусть, без листа, и ему верили. Всё, что у меня есть о том вечере, — чужие слова и протокол. Своего нет ни минуты.

Вот он стоит в двух шагах, и я не узнаю ничего.

Ни голоса, ни поворота головы, ни посадки плеч. Другой на моём месте вспомнил бы хоть злость. У меня нет и злости: на пустое место злиться не выходит.

Сказать об этом некому. Тишина стояла ровно столько, сколько я шёл.

Восемь шагов, и на восьмом, за спиной, кто-то начал фразу с середины — не ту, что оборвалась. Смеха не было и сейчас.

На крыльцо я поднялся, не обернувшись.

Прямая дорога заметнее обхода. За неё я и шёл: обход рассказал бы, что я его выбирал, а прямая не рассказывает ничего, кроме того, что она короче.

На третьей ступени меня окликнули.

— Эй, допущенный.

Голос был громче нужного. На крыльце от двери до ступеней шагов пять, и говорить тут можно вполголоса. Он говорил на весь двор.

Я обернулся не сразу и не медленно. Внизу стоял один из тех, кого я узнал на перекличке: Корсаков, второй в своём доме. Позади него, шагах в пятнадцати, круг ещё не разошёлся, и головы в нём повернулись все.

«Допущенный» — это обращение к приписанному.

Этим словом зовут служителя при цейхгаузе, когда не помнят фамилии. К наследнику оно не обращено никогда. К главе дома тем более, и в этом вся соль: обращение выбрано не по ошибке, потому что фамилию мою он на перекличке слышал дважды, и второй раз целиком.

— Слушаю, — сказал я.

Не «слушаюсь».

Разница в одну букву, и на неё тут вся ставка. «Слушаюсь» — ответная формула к «допущенному». Она замыкает пару: он назвал, я откликнулся, и оба назывались правильно. «Слушаю» не замыкает ничего: это просто слово, означающее, что я его слышу.

— Вы сундук у столяра заказали?

Вопрос был настоящий. Это я понял сразу и потому не мог отмолчаться. Отмолчаться на пустой оклик можно: это его дело, зачем он кричал. Отмолчаться на дело — значит показать, что дела не понимаешь.

Сундуки у столяра заказывают в очередь, и очередь общая на всех.

— Заказал вчера.

— Вчера у него моего человека записали пятым. Вы после него?

— Я после него.

— Уверены?

— Я стоял рядом и видел, как он писал.

Он помолчал, соображая, как продолжить.

Продолжать было нечем. Сундук заказан, очередь соблюдена, ответы даны, и всё это при полутора десятках свидетелей. Вопрос был выбран верно: настоящий и мелкий, из тех, на которые отвечают по существу.

Расчёт был не на вопрос. Ждал он ответной формулы.

Руки я держал за спиной, сцепленными, и ногти вошли в ладонь левой руки. Правой я не сжимал: правая сжимается плохо, и это было бы видно.

— Больше ничего? — спросил я.

И всё.

Ни «слушаюсь», ни «как прикажете», ни «покорно». Ни одной формы, которая ответила бы «допущенному» и поставила бы пару.

Двор слушал. Обращение без ответной пары в здешнем обычае повисает. Оно сказано, ответа ему нет, и висеть так оно будет до следующего раза. Повторить придётся: невозвращённое обращение — это долг того, кто его сказал.

Повторённое дважды при свидетелях перестаёт быть оговоркой.

Дважды — это уже не «не помню фамилии». Дважды — это заявление, что Верицкий здесь допущенный, и заявление публичное. Такое переспрашивают, на такое ссылаются, за такое отвечают перед своим домом.

Он посчитал это быстрее меня.

— Нет, — сказал он. — Ничего.

И отошёл.

Обращения он не повторил. Я досчитал до пяти и поднялся по двум оставшимся ступеням. Голоса за спиной пошли снова, и на этот раз кто-то засмеялся, но смеялись не мне: там уже говорили о другом.

Победа эта размером с ноготь.

Меня назвали приписанным при полутора сотнях человек, и никто не поправил. Зато его не повторили. Значит, кто-то во дворе умеет считать до двух.

Ладонь левой руки саднила весь день.

Двор пустеет быстро.

Полторы сотни человек расходятся в четыре двери, и через три минуты на плитах остаются лужи и полдюжины человек, которым некуда торопиться.

Я сел на верхнюю ступень и стал стягивать правый сапог.

Предлог был настоящий. Сапог промок ещё вчера, за ночь не высох, и за полчаса на холоде нога в нём онемела до подъёма. Вылить оттуда воду стоило в любом случае.

Стягивался он туго. Сидеть на ступени и возиться с сапогом — занятие, которое можно тянуть сколько угодно. Никто не спросит, чего ты тут сидишь: видно, чего.

Служащего с папкой я приметил ещё в строю.

Он занял место у стены канцелярии, слева от крыльца, под самым окном. Простоял там всё построение и всё построение писал. Папку он держал на согнутой левой, а писал стоя, карандашом.

Записывать при перекличке нечего. Перекличку читают по листу, и лист потом сдают. Наказаний сегодня не назначили ни одного. Происшествий не было: никто не опоздал, никто не упал, никто не сказал лишнего.

А он писал.

Писал не постоянно. Я следил за ним урывками, между чужими спинами, и заметил трижды: когда я отвечал полной формулой, когда я шёл мимо круга и когда Корсаков окликнул меня с крыльца.

Три раза, и все три — про меня. Может быть, писал он и про других. С моего места видно было плохо, и утверждать я ничего не стану. Но все три раза совпали с тем, что касалось меня. Для случайности многовато.

Записывают, стало быть, не наказания.

Наказания пишут в книгу взысканий, и книга взысканий лежит в канцелярии открыто: про неё говорил Илья вчера, и её показывают по требованию. Поведение в книгу взысканий не пишут. Поведению места в уставе нет вовсе.

Я вылил воду из сапога и стал надевать обратно. Служащий закрыл папку, прижал её к боку и пошёл вдоль стены к угловой двери. Шёл он не торопясь, той походкой, какая бывает у человека, кончившего своё дело к сроку.

Я досчитал до десяти и пошёл за ним.

Идти пришлось на своём расстоянии. Шагов двадцать — и достаточно далеко, чтобы не читалось, и достаточно близко, чтобы видеть, в какую дверь. Один раз он остановился и переложил папку под другую руку, и я тоже остановился и потопал ногой, как топают, обувшись на мокрое.

Угловая дверь ведёт в нижний коридор канцелярии. Столы наверху, а этот коридор короткий, с тремя дверями по левой стороне. Я входил сюда впервые: наверх, к Шибанову, ходят с другого крыльца.

Он вошёл во вторую дверь.

Дверь скрипнула на высокой ноте и закрылась. Внутри, за ней, послышались шаги и голоса — двое, оба вполголоса, слов не разобрать.

Я подошёл и прислонился к стене напротив. Под дверью шла полоса света, шириной в палец. Таблички на двери не было. Ни номера, ни должности, ни фамилии: доска голая, и следа от прежней таблички на ней тоже нет.

Пробыл я там недолго.

Спросить, куда ложится такая запись, было не у кого. Шибанов скажет «установленным порядком». Ляпин пошлёт к Бахметеву. Бахметев ответит, что положено знать самому, и запишет мне третий вопрос.

Илью спрашивать нельзя. За это я уже заплатил. Свет под дверью погас, и шаги внутри стихли.

Я ушёл раньше, чем она открылась.

До четвёртого числа двадцать четыре дня.

Всё это время в доме будут проверять бумаги, Кожин будет считать сроки, а здесь кто-то будет писать карандашом на стоячей папке про то, как я отвечаю на перекличке и какой дорогой хожу по двору.

И где эти записи сойдутся, я не знаю.

Глава 8. Ловушка на двоих

Выдачу объявили накануне за ужином, одной фразой.

Казённое платье выдают по спискам, в кладовой при канцелярии, с двух часов. Приписанные и служащие последними — это в Корпусе не объявляют, это известно.

Два часа мне неудобны.

В два у меня работы при цейхгаузе. Об этом записано на доске в коридоре. Уйти оттуда можно, отпросившись, и отпрашиваться я ходил утром. Отпустили без разговора: за платьем ходят все.

Про час я подумал уже в кладовой.

Кладовая длинная, с низким потолком. Ламп в ней две: одна над столом, другая у полок. Между ними темно. Пахнет новым сукном и старой пылью, и второй запах сильнее. Сукно лежит штуками на стеллаже до потолка, торцами наружу, и торцы серые от лежания.

Народу было человек двадцать, и все чужие.

Стояли вдоль стены, и очередь шла на глаз. Сукно выдавал служитель с ножницами на поясе, а записывал другой, за столом. У стола сидел третий и считал на счётах.

Третьим был Илья.

Он не поднял головы, когда я вошёл, и я не задержался в дверях. За четыре дня мы научились этому оба, и учиться пришлось недолго.

Очередь двигалась медленно.

Шестнадцатилетним отмеряли короче, взрослым длиннее, и мерная рейка ходила туда-обратно с одинаковым стуком о стол. На каждого уходило минуты по три: отмерить, свернуть, записать, подписать. Стук счётов шёл поверх всего и обрывался, когда Илья ставил перо.

Я встал последним и простоял час.

За этот час очередь передо мной кончилась. Я остался один из тех, кому ещё не выдали. Причины уходить у меня не было. Черёд мой последний, и стоять я обязан именно тут.

Час — это и много, и мало.

Много, чтобы устать. Мало, чтобы не разглядеть комнату, где двадцать человек и две лампы.

Книгу принесли в половине четвёртого.

Не ту, по которой записывали выдачу: эта лежала на столе с начала. Принесли вторую, толстую, в тёмном переплёте, с тесёмками. Легла она рядом с первой.

Принёс её не Илья.

Мне это бросилось в глаза: все четыре дня её носил он. Утром он выходил с ней из канцелярии, вечером возвращался, и по коридору с ней ходил только он. Книга тяжёлая, и несут её обеими руками, прижав к груди.

Сегодня её принёс служащий из угловой двери.

Тот самый, с папкой, со вчерашнего построения. Он вошёл, положил книгу на стол и ушёл, не сказав ни слова никому, и никто ему ничего не сказал.

Илья на книгу не посмотрел.

Придвинул он её не сразу. Досчитал столбец, поставил число, присыпал и только потом придвинул её к себе. Между тем, как книга легла на стол, и тем, как он её тронул, прошло секунд двадцать.

Двадцать секунд — это дорого.

Свою рабочую книгу берут сразу, не раздумывая. Двадцать секунд её не трогает тот, кто знает, что в ней сегодня будет.

Он развязал тесёмки и раскрыл на развороте.

Служитель с ножницами отложил их и подошёл. Второй, записывавший, отодвинул свой стул. В дверях кладовой стало светлее: кто-то открыл наружную створку.

Счёты застучали и через четверть часа встали.

Стук у них однообразный, с паузами на перенос, и привыкаешь к нему за минуту. Тишина после него слышнее всякого крика.

Илья перелистнул страницу назад.

Потом ещё раз назад. Потом провёл пальцем по столбцу сверху вниз, дошёл до середины и остановился на строке. Палец с неё не сдвинулся.

— Не сходится, — сказал записывавший.

Сказал он это громко.

Громче, чем нужно человеку, сидящему за тем же столом. В кладовой оставалось семеро, и услышали все семеро, и это было устроено именно так.

— На сколько?

— На три аршина по третьей графе.

Три аршина — малость.

Сукна в кладовой на сотни аршин, и три из них не стоят разговора. Списывают такое на усушку, на обмер, на кривой стол. Из-за трёх аршин книгу не приносят из угловой двери.

Но недостача есть, пока её не объяснили.

Илья положил обе руки на стол ладонями вниз.

Тем самым движением, каким клал их в коридоре, когда ставил условие. Тогда я не понял, зачем оно ему. Теперь понял: на весу они дрожат, на столе нет, и видно это всякому.

— Третья графа не моя, — сказал он.

Голос у него не дрогнул.

— Графа ваша. Вы её считали.

— Я её считал. Заполняли её до меня.

— Кто?

Ловушка была тут.

Сказать «кто» Илья не мог. Заполнял графу до него тот, кто носит эту книгу постоянно, а книгу сегодня принёс другой, и предыдущая запись сделана чужой рукой. Доказать это можно одним: показать почерк в графе и почерк Ильи рядом. Обе страницы были у него под руками.

Он этого не сделал.

От стены, в шести шагах, разворот было видно сбоку. Разница в почерках была видна и мне: одна строка с наклоном, остальные прямые. Илья на неё даже не посмотрел.

А потом я увидел, почему.

В дверях стояли двое.

Наружную створку открыли не для света. Их я узнал обоих: оба из первого набора, оба из круга, что собирался вокруг Ланского позавчера. Один был тот, невысокий, в новом кафтане.

Вошли они не полностью и не встали в очередь.

Стояли в дверях, плечом к косяку, как останавливаются на минуту по дороге. Никакого дела у них тут быть не могло: казённое платье наследникам не выдают, у них своё.

Смотрели они не на Илью.

Дошло это до меня секунд через пять. Голова у обоих была повёрнута вполоборота, и вполоборота из дверей виден не стол.

Из дверей вполоборота видна стена, у которой я стою.

Свет падал на меня.

Место у стены под второй лампой — самое освещённое тут после стола. Встал я туда сам, отступив с прохода, когда у стола заговорили громко, и отступил, чтобы не мешать.

Теперь выйти оттуда было нельзя.

Всякое движение отсюда читается: шаг вперёд — вмешательство, шаг назад — уход. Стоять неподвижно тоже читается, но читается медленнее, а я хотел выиграть время.

Стук счётов не возобновился.

За столом говорили ещё, и слова шли поверх слов: записывавший объяснял служителю с ножницами, служитель что-то отвечал, Илья молчал. Ладони его лежали на столе, и ни один палец не двинулся.

Свет лампы падал на бумагу и на его руки.

Чернила в третьей графе были темнее прочих. Их клали позже, поверх подсохшего, и на просвет это разошлось бы в две секунды.

Те, в дверях, ждали.

Ждали они не объяснения по графе.

Сказать надо было одно предложение.

«Посмотрите чернила в третьей графе на просвет». Восемь слов. За восемь слов недостача превращается из небрежения в чужую запись, и дело кончается ничем.

Я знал это предложение целиком.

Руки я держал за спиной, сцепив, и стоял ровно. Пульс шёл в уши. Шёл он быстрее, чем полагается тому, кто ничего не делает.

Холод стены доходил через рубаху под лопатки.

Стена тут наружная. Я прижался к ней спиной сильнее, чем нужно, и заметил это по лопаткам. Тело просилось вперёд и упиралось в стену назад.

Восемь слов стоили бы дороже трёх аршин.

Это и есть весь расчёт, и расчёт я сделал не сейчас. Сделал я его три дня назад, за низкой дверью без таблички, когда повторил условие вслух и назвал последний пункт своими словами.

При людях — значит и здесь.

Тут семеро, и двое из них в дверях, и стоят они там нарочно. Скажи я хоть слово в защиту Ильи, назавтра в Корпусе будет известно: приписанный Руднев — человек Верицкого. Не приятель и не знакомый, а тот, за кого заступаются.

За такого не заступаются дважды.

Его отставят от книг, переведут в другую службу, а потом найдут третью графу в другой книге, и тогда рядом уже не будет никого. Помощь тут дороже вреда, и цену платит не тот, кто помог.

Кроме того, цена уже уплачена.

Я купил у него порядок Корпуса и заплатил вперёд, и товар получил в тот же день. Нарушить уговор один раз — значит объявить, что всё купленное я брал даром.

Всё это я знал и стоял.

Знание не помогает, когда в шести шагах человек кладёт ладони на стол, чтобы не было видно, как они дрожат.

Время в такие минуты идёт неровно.

Я считал его по лампе. Фитиль у ближней был длинен и коптил, и копоть садилась на стекло изнутри тонким серым языком. Язык этот рос, и за то, что у стола говорили, он вырос на ноготь. Потом служитель снял стекло тряпкой, обжёгся и выругался вполголоса.

Пахло в кладовой горелым фитилём и мокрой шерстью от чужих плеч.

— Небрежение в счёте, — сказал записывавший.

Я не двинулся.

— Запишем так.

И опять ничего.

Кашлянул кто-то из очереди, у самых полок. Кашель прозвучал громко, и от него все обернулись, и я вместе со всеми, потому что не обернуться было бы заметнее.

Обернувшись, я вернул голову назад и опять встал прямо.

Те, у косяка, простояли всю сверку.

Они не сказали ни слова и ни разу не вошли. Один переступил с ноги на ногу, второй за это время не сделал ничего. Ждать они умели.

Потом заскрипело перо.

Взыскание пишут в самой книге, на левом поле, поперёк строки. С моего места я этого не видел, но скрип шёл поперечный, мелкими ходами, и звук у него другой.

Скрипело секунд двадцать.

За эти двадцать секунд я сосчитал до двадцати и ни разу не сбился, и это единственное, чем я могу похвалиться за весь тот день.

Перо положили.

Оба отлепились от косяка и ушли, не дождавшись конца. Идти им было недалеко: с кем говорить, они знали.

До самого конца сверки я не сказал ничего.

Илья не поднял головы ни разу.

Взыскание присыпали песком и стряхнули на пол.

Написано оно было за небрежение в счёте. Не за недостачу. Недостачу таким порядком не докажешь: нужен обмер и двое свидетелей. А небрежение видно по книге, и книга лежит на столе.

Формулировка эта дешевле и вернее.

За недостачу отвечают деньгами и по разбору. За небрежение — отставкой от книг, и разбора тут не положено. Оспорить отставку можно, но оспаривает её тот, у кого есть кому подать. У Ильи подавать некому: дом от него отрёкся под запись, и бумага эта лежит в Палате не первый год.

— На неделю от книг, — сказал записывавший.

Илья кивнул.

Ни слова. Кивок вышел деловой, в одно движение. Ни обиды, ни согласия, ни просьбы. Он просто принял к сведению, как принимают погоду.

Потом очередь возобновили с того места, где прервали.

То есть с меня.

Служитель размотал штуку, отмерил по рейке, отрезал и свернул вчетверо. Свёрток перетянул бечёвкой крест-накрест и затянул узел зубами. Сукно колючее даже через рубаху. Пахнет складом: пылью, мышами, немного дёгтем.

— Распишитесь.

Книгу расписок придвинули ко мне.

Не ту, толстую, в тёмном переплёте. Другую, тонкую, в которой расписываются за полученное: имя, число, что выдано, подпись. Строк на развороте двадцать с небольшим.

Моя строка была последней.

Перо мне подали чужое, с разбитым кончиком, и я расписался им медленнее, чем расписался бы своим. Медленнее — это лишние секунды, и лишние секунды я потратил на то, ради чего и оставался последним.

Я читал имена выше своего.

Сверху вниз читать нельзя: сверху вниз читают долго. Я читал по графе «что выдано». Графа узкая, глаз идёт по ней быстро, а имя стоит слева и попадает боковым зрением.

Двадцать одна строка, и чернила в семи последних ещё блестели.

Из них шестнадцать — приписанные и служители, все с одинаковой записью: «платье казённое, комплект». Четыре — кухонные, с бельём. И одна не такая.

Одна стояла девятой сверху.

В графе «что выдано» у неё было написано другое. Не комплект и не бельё: два слова, которых я в этой книге больше нигде не видел. А в графе имени стояла фамилия, которой здесь быть не должно.

Читать её дважды я не стал.

Перо отдал, свёрток взял под мышку и пошёл к двери. От стола до двери одиннадцать шагов, и все одиннадцать я думал об одном: не обернуться.

Илья головы так и не поднял.

Он сидел, придвинув к себе счёты, и перебирал костяшки, хотя считать ему было уже нечего. Книгу из-под его рук забрали и унесли в угловую дверь тот же служащий, который её принёс.

В дверях я задержался на полсекунды и вышел.

Во дворе было холодно и светло.

Я стоял со свёртком под мышкой и повторял про себя две вещи: фамилию и то, что стояло в графе. Записать их было негде и нечем. Забыть фамилию из книги легче, чем кажется: она стоит среди двадцати других и к вечеру путается с ними.

Повторил я её раз десять, пока шёл до комнаты.

Стоила она Илье недели без книг.

Я не знаю, была ли эта строка причиной сверки или просто попалась мне под руку заодно. Проверить это можно только одним способом, и способ этот займёт не один день.

Но она была там, и я её унёс.

После отбоя я вышел во второй раз за неделю.

Первый был к Ляпину, за сундуком: столяровской очереди до июня он не отменял и отменять не стал, а выписал из цейхгауза казённый, с битым углом и замком, который садится, только если придержать крышку коленом. Зато в тот же вечер и в ногах койки, как положено. Второй — сюда, и ходить так часто нельзя: человека, которого дважды видели ночью в коридоре, начинают видеть ночью и тогда, когда его там нет.

Канцелярский коридор ночью пуст совершенно.

Свечи снимают все, кроме одной у лестницы, и она горит в жестяном колпаке, и свет от неё идёт вверх. Внизу, где идёшь, почти темно, и эхо от шагов возвращается от дальней стены с задержкой.

Я пришёл сюда не за книгой.

Вопрос у меня был другой, и он мучил со вчерашнего вечера. Сверку назначили на час, когда мне тут быть не положено. Двое встали в дверях, когда недостача только объявлялась. Смотрели они на меня, а били Илью.

Значит, о нашем разговоре знали.

Разговор был один, за низкой дверью без таблички, после полудня третьего дня. Больше мы не говорили ни разу.

Я пошёл тем же путём, каким шёл тогда.

От второго стола двадцать шагов вглубь коридора, мимо третьего, к низкой двери без таблички. Дверь та же, притворена так же: замка на ней нет.

Внутри я не стал зажигать огарка.

Встал там, где стоял тогда, у стены, лицом к двери. Сказал вполголоса, тем же голосом, каким говорил три дня назад:

— Раз, два, три, четыре.

И пошёл слушать.

Первое место — коридор.

Через щель под дверью слышно всё. Я убедился в этом на второй попытке, когда посчитал в кладовой, а потом вышел и попросил бы кого-нибудь посчитать за меня, но просить было

некого. Пришлось иначе: я говорил в кладовой, а слушал, приоткрыв дверь на палец и стоя в коридоре.

Слышно было каждое слово.

Щель под дверью в два пальца, и порога нет. Такую дверь ставят на кладовую, где нечего красть, и правильно ставят: там и правда нечего.

Второе место — стена.

За левой стеной кладовой комната со стопками. Я обошёл коридором, вошёл туда и встал у стены. Стена там в полкирпича, и вдоль неё стоят стопки, и стопки эти глушат мало.

Говорить самому и слушать себя из соседней комнаты нельзя.

Но я стукнул по стене ладонью из комнаты со стопками и услышал этот стук, вернувшись в кладовую. Стучал не сильно. Звук прошёл глухо, но прошёл.

Из кладовой слышно в две стороны.

Теперь — кто и когда.

Тут считать было нечего: я это слышал сам. В тот день, пока Илья называл условия, за

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.